М. ВЕЛЛЕР
ДОЛИНА ИДОЛОВ

Михаил Веллер

Долина идолов (сборник)

«АСТ»

Веллер М. И.

Долина идолов (сборник) / М. И. Веллер — «АСТ»,

ISBN 5-17-033963-1

Новая книга Михаила Веллера включает в себя роман «Не ножик не Сережи не Довлатова», популярное исследование «Технология рассказа», повести и эссе о писательских судьбах. Как всегда, книга Веллера остра, полемична, увлекательна, язык ее легок и отточен.

ISBN 5-17-033963-1

© Веллер М. И.
© АСТ

Содержание

ВНАЧАЛЕ 5
КАК ВЫ МНЕ НАДОЕЛИ 13
1. НОЖИК СЕРЕЖИ ДОВЛАТОВА 13
2. НЕ НОЖИК НЕ СЕРЕЖИ НЕ ДОВЛАТОВА 45
Конец ознакомительного фрагмента. 79

Михаил Веллер
Долина Идолов

ВНАЧАЛЕ

ГУРУ

– Бесконечная мера вашего невежества – даже не забавна…

Такова была первая фраза, которую я от него услышал, – подножка моей судьбе, отклоненной им с предусмотренного пути.

Но – к черту интимные подробности.

Я всем ему обязан. Всем.

Теперь не узнать, кем он был на самом деле. Он любил мистифицировать. Весьма.

Я приходил с бутылкой портвейна и куском колбасы, или батоном, или пачкой пельменей, или блоком сигарет в его конуру. И прежде, чем мой палец касался дверного замка, из самоуверенного, удачливого, хорошо одетого, образованного молодого человека превращался в того, кем был на самом деле – в щенка. Он был – мастер и мэтр, презревший ремесло с горних высот познания. Он был мудрец; я – суетливый и тщеславный сопляк.

Он презирал порядок, одежду, репутацию и вообще людское мнение, презирал деньги – но кичливую нищету презирал еще больше. Добродетель и зло не существовали для него: он был из касты охотников за истиной. Не интересуясь фарсом заоконных новостей, он промывал ее крупицы, как золотоискатель в лотке.

Золотой песок своих истин он расшвыривал горстями равнодушного сеятеля направо и налево, рассчитываясь им за все.

Эта валюта имеет ограниченное хождение. Его жизнь можно было бы назвать историей борьбы, если б это не была история избиений. Изломанный и твердый, он напоминал саксаул.

Он распахивал дверь, и его дальнозоркие выцветшие глазки щурились с отвагой и презрением на меня и сквозь – на внешний мир. Презрение уравновешивало чашу весов его мировоззрения: на другой покоилась отвергнутая миром любовь. Я понял это позже, чем следовало.

Он принимал мои дары, как хозяин берет покупки у посланного в магазин соседского мальчишки, когда домработница больна. Каждый раз я боялся, что он даст мне на чай, – я не знал, как повести себя в таком случае.

Пижоня старческой брюзгливостью, он молча тыкал пальцем в вешалку, после – в дверь своей комнаты: я получал приглашение.

В комнате он так же тыкал в допотопный буфет и в кресло: я доставал стаканы и садился.

Он выпивал стакан залпом, закуривал, и в бесформенной массе старческого лица проступали, позволяя угадывать себя, черты – жесткие и несчастные. Он был из тех, кто идет до конца во всем. А поскольку все в жизни, живое, постоянно меняется, то в конце концов он в своем неотклонимом движении всегда заходил слишком далеко и оказывался в пустоте. Но в этой пустоте он обладал большим, чем те, кто чутко следуют колебаниям действительности. Он оставался ни с чем – но с самой сутью действительности, захваченной и законсервированной его едким сознанием; и ничто уже не могло в его сознании эту суть исказить.

– Мальчик, – так начинал он всегда свои речи, – мальчик, – вкрадчиво говорил он, и поколебленный его голосом воздух прогибался, как мембрана, которая сейчас лопнет под неотвратимым и мощным напором сконцентрированных внутри него мыслей, стремительно рас-

ширяющихся превращаясь в слова, как превращающийся в газ порох выбивает из ствола снаряд и тугим круглым ударом расшибает воздух.

– Мальчик, – зло и оживленно каркал он, и втыкал в меня два своих глаза ощутимо, как два пальца, – не доводилось ли тебе почитывать такого мериканского письмен-ника, которого звали Эдгар Аллан По? Случайно, может?

Я отвечал утвердительно – не боясь подвоха, но будучи в нем уверен и зная, что все равно окажусь в луже, из которой меня приподнимут за шиворот, чтоб ПЛЮХНУТЬ вновь.

– Так вот, мальчик, – продолжал он, и по едва заметному жесту я улавливал, что надо налить еще. Он выпивал, вставал, – и больше не удостаивал меня взглядом в продолжении всех слов. Плевать ему было на меня. Я был – внешний мир. Я был – контактная пластина этого мира. К миру он обращался, не больше и не меньше.

– Все беды от невежества, – говорил он. – А невежество – из неуважения к своему уму. Из счастья быть бараном в стаде.

– Невежество. Нечестность. Глупость. Подчиненность. Трусость. Вот пять вещей, каждая из которых способна уничтожить творчество. Честность, ум, знание, независимость и храбрость – вот что тебе необходимо развить в себе до идеальной степени, если ты хочешь писать, мальчик. Те, кого чествуют современники – не писатели. Писатель – это Эдгар Аллан По, мальчик, – и он клал руку на корешок книги с таким выражением, как если б это было плечо мистера Э. А. По. Он актерствовал, – но прокручивая в голове эти беседы, я не находил в его актерстве отклонений от истины. Может, это мы актерствуем всякий раз, когда отклоняемся от естественности порыва?

– О честности, – говорил он, и голос его садился и сипел стершейся иглой, не способный выдержать накал исходящей энергии, – энергии, замешанной на познании, страдании, злости. – Ты обязан отдавать себе абсолютный отчет во всех мотивах своих поступков. В своих истинных чувствах. Не бойся казаться себе чудовищем, – бойся быть им, не зная этого. И не думай, что другие лучше тебя. Они такие же! Не обольщайся – и не обижайся.

Тогда ты поймешь, что в каждом человеке есть все. Все чувства и мотивы, и святость и злодейство.

Это все – хрестоматийные прописи. Ты невежествен, – и я не виню тебя в этом. Ты должен был знать это все в семнадцать лет, хотя понять тогда еще не мог бы. Но тебе двадцать четыре! что ты делал в своем университете, на своем филфаке, скудоумный графоман?! – И его палец расстреливал мою переносицу. Я вжимался в спинку кресла и потел.

– Без честности – нет знания. Нечестный – закрывает глаза на половину в жизни.

Наши чувства, наша система познания, восприятия действительности – как хитрофокусное стекло, сквозь которое можно видеть невидимую иначе картину мира. Но есть только одна точка, из которой эта картина видится неискаженной, в гармоничном равновесии всех частей – это точка истины. Точка прозрения в абсолютной честности, вне нужд и оценок.

Не бойся морали. Бойся искажения картины. Ибо при малейшем отклонении от точки истины – ты видишь – и передаешь – не трехмерную картину мира, а лишь ее двухмерное – и хоть каплю, да искаженное, – отображение на этом стекле, искусственном экране невежественного и услужливого человеческого мозга. Эпоха и общество меняют свой угол зрения – и твое изображение уже не похоже на то, что когда-то казалось им правдой. А трехмерность, истина, – то и дело не совпадает с тем, что принято видеть, – но всегда остаются; колебания общего зрения не задевают их, они же корректируют эти колебания.

Поэтому никогда не общайся с людьми, которые вопрошают: «А зачем об этом писать?» – подразумевая, что писать надо в некой сбалансированной разумом пропорции, преследуя некие известные им цели. Такие люди неумны, нечестны и невежественны. Что ты знаешь о биополях? А о пране? о йоге? Не разряжай своей энергии, своей жизненной силы в никуда, контактируя с пустоцветом и идиотами.

– Искусство, мальчик, – он пьянел, отмякал, отрешался, – искусство – это познание мира, вот и все. Что с того, что во многой мудрости много печали. Что, и Экклезиаста не читал? серый штурмовичок… крысенок на пароходе современности… Духовный опыт человечества – вот что такое искусство. Анализ и одновременно учебник рода человеческого. Это тот оселок, на котором человечество оформляет и оттачивает свои чувства – все! Весь диапазон! На котором человечество правит свою душу. Вся черная грязь и все сияющее благоухание – удел искусства – как и удел человечества. Познание – удел человечества. Счастье? Счастье и познание – синонимы, мальчик, слушай меня. Это все банально, но ты запоминай, юный невежда. Ты молод, душа твоя глупа и неразвита, хотя и чувствительна, – ты не поймешь меня. Поймешь потом.

Я пил вино и пьянел. Он попеременно казался мне то мудрецом, то пустым фразером. Логика моего восприятия рвалась, не в силах подхватить стремительную струю крепчайшей эссенции, как мне казалось, его мыслей.

– Публика всегда аплодирует профессионально сделанной ей на потребу халтуре. Шедевры – спасибо, если не отрицая их вообще при появлении, – она не способна отличить от их жалких подобий. Зрение ее – двухмерно! А остаются – только шедевры! Художник – увеличивает интеллектуальный и духовный фонд человечества. Зачем? А зачем люди на этой планете? Только невежество задает такие глупые вопросы…

Ты не слышал об опытах на крысах? Первыми осваивают новые территории «разведчики». По заселении устанавливается жесткая иерархия, а «разведчиков» – убивают. «Так создан мир, мой Гамлет…» А. Икар все падает, и все летит: не в деньгах счастье, не хлебом единым, живы будем – не помрем.

Он допивал вино и, снова повинуясь неуловимому желанию, шел на кухню заваривать чифир. Он не употреблял кофе – он пил чифир. Он говорил, что привык к нему давно и далеко, и произносил длинные рацеи о преимуществе чая перед кофе.

Чифир обозначал конец «общей части» и переход к «литературному мастерству». Он заявлял, что я самый паршивый и бездарный кандидат в подмастерья в его жизни. И, что обиднее всего – видимо, последний. В этом он оказался прав бесспорно – я был последним…

– Мальчишка, – говорил он с невыразимым презрением, и на лице его отражалось раздумье – стошнить или прилечь и переждать. – Мальчишка, он полагает, что написал рассказ лучше вот этого,– он потрясал журналом, словно отрубленной головой, и голова бесславно летела в угол с окурками и грязными носками.

– Шедевры! – ревел он. – По – писатель! Акутагава – писатель! Чехов – писатель! И выбрось всю дрянь с глаз и из головы, если только тебя не устраивает перспектива самому стать дрянью!

И заводил оду короткой прозе.

– Вещь должна читаться в один присест, – утверждал он.– Исключения – беллетристика: детектив, авантюра, ах-любовь. Оправдания: роман-шедевр, по концентрации информации не уступающий короткой прозе. Таких – несколько десятков в мировой истории.

Концентрация – мысли, чувства, толкования! Вещь тем совершеннее, чем больше в ней информации на единицу объема! чем больше трактовок текста она допускает! Настоящий трехмерный сюжет – это всегда символ! Настоящий сюжетный рассказ – всегда притча!

Материал? Осел! Шекспир писал о Венеции, Вероне, Дании, острове, которого вообще не было. А По? А Акутагава? Мысль!! – лежит в основе, и ты оживляешь ее адекватным материалом. Ты обязан знать, видеть, обонять и осязать его, – но не обязан брать из-под ног. Бери где хочешь. Все времена и пространства – сущие и несуществующие – к твоим услугам. Это азбука! – о невежество!..

Он дирижировал невидимому чуткому оркестру:

– Процесс создания вещи состоит из следующих слоев: отбор наиподходящего, выигрышного, сильнейшего материала; организация этого материала, построение вещи, композиция;

изложение получившегося языковыми средствами. Этот триединый процесс оплодотворяется мыслью, надыде-ей, которая и есть суть рассказа. Пренебрежение одним из четырех перечисленных моментов, уже не даст появиться произведению действительно литературному.

Хотя! – он взмахивал обтерханными рукавами, и оркестр сбивался, – хотя! – доведение до идеала, открытия, лишь одного из четырех моментов уже позволяет говорить об удаче, таланте и так далее. Но только доведение до идеала всех четырех – рождает шедевр.

Каждая буква должна быть единственно возможной в тексте. Редактирование – для распустех и лентяев, вечных стажеров. Не суетись и не умствуй: прослушивай внимательно свое нутро, пока камертон не откликнется на истинную, единственную ноту.

Не нагромождай детали – тебе кажется, что они уточняют, а на самом деле они отвлекают от точного изображения. Каждый как-то представит себе то, о чем читает, твое дело – задействовать его ассоциативное зрение одной-двумя деталями. Скупость текста – это богатство восприятия, дорогой мой.

Записывать мне было запрещено. Он – открывал себя миру и не желал отчуждения своих истин в чужом почерке.

Я жульничал. В соседнем подъезде закидывал закорючками листки блокнота, чтоб дома перенести в амбарную книгу полностью. Иногда при этом казался себе старательным тупицей, зубрящим правила в надежде, что они откроют секрет успеха.

– У мальчика подвешен язык, – язвил он. – У мальчика стоят мозги – и то ладно. Импотент от творчества не способен оплодотворить материал – он в лучшем случае описатель. Творческий командированный. Приехал и спел, что он видел. Дикари!!.. Кстати, таким был и Константин Георгиевич. А ты не хай, сопляк, сначала поучись у него описывать чисто и красиво. Момент не достаточный, но в общем не бесполезный.

Он затягивался, втягивал глоточек чифира и выдыхал дым. И высекал:

– Первое. Научись писать легко, свободно – и небрежно – так же, как говоришь. Не тужься и не старайся. Как бог на душу положит. Обычный устный пересказ – но в записи, без сокращений.

Второе. Пиши о том, что рядом, что знаешь, видел и пережил. Точнее, подробнее, размашистее.

Третье. Научись писать длинно. Прикинь нужный объем и пиши втрое длиннее. Придумывай несуществующие, но возможные подробности. Чем больше, тем лучше. Фантазируй. Хулигань.

Четвертое. А теперь ври напропалую. Придумывай от начала и до конца; начнет вылезать и правда – вставляй и правду. Верь, что это так же правдоподобно, как и то, что ты пережил. То, что ты нафантазировал, ты знаешь не хуже, чем всамделишное.

С демонстративным отвращением он перелистывал приносимые мной опусы, кои и порхали в окурочно-носочный угол как дохлые уродцы-голуби, неспособные к полету.

– Так. Первый класс мы окончили: научились выводить палочки и крючочки. Едем дальше, о мой ездун:

– Пятое! Выкидывай все, что можно выкинуть! Своди страницу в абзац, а абзац – в предложение! Не печалься, что из пятнадцати страниц останутся полторы. Зато останется жилистое мясо на костях, а не одежды на жирке.

Шестое. Никаких украшений! Никаких повторов! Ищи синонимы, заменяй повторяющееся на странице слово чем хочешь! Никаких «что» и «чтобы», никаких «если» и «следовательно», «так» и «который». По-французски читаешь? Ах, пардон, я забыл, каких садов ты фрукт и продукт. Читай «Мадам Бовари» в Роммовском переводе. Сто раз! С любого места! Когда сумеешь подражать – двинешься дальше.

В голосе его мне впервые услышалось снисхождение верховного жреца к щенку на ступеньках храма.

Началось мордование. Я перестал спать. Болело сердце и весь левый бок. Я вскакивал ночью от удушья. Зима кончалась.

– Отработка строевого шага в три темпа, – издевался он. – Что, не нравится писать просто, а?

Я преступно почитывал журналы и ужасался. Я хотел печататься и заявлять о себе. Но течение несло, и я не сопротивлялся: туманный берег обещал невообразимые чудеса – если я не утону по дороге.

В апреле я принес четыре страницы, которые не вызвали его отвращения.

– Так, – констатировал он. – Второй класс окончен. Небыстро. Не совсем бездарь, хм… задатки прорезались…

Наверное, я нажил нервное истощение, потому что чуть не заплакал от любви и умиления к нему. Старый стервец со вкусом пукнул и поковырялся в носу.

Допив портвейн, он поведал что сейчас – еще в моей власти: бросить или продолжать; но если не брошу сейчас – человек я конченый.

Я, почувствовав в этом посвящение, отвечал, что уже давно – конченый, умереть под забором сумею с достоинством, и сорока пяти лет жизни мне вполне хватит.

В мае я принес еще два подобных опуса.

– Не скучно работать одинаково?

– Скучно…

– Элемент открытия исчез… Ладно…

– Седьмое! – он стукнул кулаком по стене. – Необходимо соотношение, пропорция между прочитанным и прожитым на своей шкуре, между передуманным и услышанным от людей, между рафинированной информацией из книг и знанием через ободранные бока. Пошел вон до осени! И катись чем дальше, тем лучше. В пампасы!

Я плюнул на все, бросил работу и поехал в Якутию – «в люди».

Память у него была – как эпоксидная смола: все, что к ней прикасалось, кристаллизовалось навечно:

– Восьмое, – спокойно сказал он осенью. – Наляжем на синтаксис. Восемь знаков препинания способны сделать с текстом что угодно. Пробуй, перегибай палку, ищи. Изменяй смысл текста на обратный только синтаксисом. Почитай-ка, голубчик, Стерна. Лермонтова, которого ты не знаешь.

Я налегал. Он морщился:

– Не выпендривайся – просто ищи верное. Продолжение последовало неожиданно для меня.

– Девятое, – объявил он тихо и торжественно. – Что каждая деталь должна работать, что ружье должно выстрелить – это ты уже знаешь. Слушай прием асов: ружье, которое не стреляет. Это похитрее. Почитай-ка внимательно Акутагаву Рюноскэ-сан, величайшего мастера короткой прозы всех времен и народов; один лишь мистер По не уступает ему. Почитай «Сомнение» и «В чаще». Обрати внимание на меч, который исчез неизвестно куда и почему, на отсутствующий палец, о котором так и не было спрошено. Акутагава владел – на уровне технического приема! – величайшим секретом, юноша: умением одной деталью давать неизмеримую глубину подтексту, ощущение неисчерпаемости всех факторов происходящего…– он закашлялся, сломился, прижал руки к груди и захрипел, опускаясь.

Я заорал про нитроглицерин и перевернув кресло ринулся в коридор к телефону. Вызвав «скорую» – увидел его землисто-бледным, однако спокойным и злым.

– Еще раз запаникуешь – выгоню вон, – каркнул он. – Я свой срок знаю. Иди уже, – добавил с одесской интонацией, сопроводив подобающим жестом.

С приемом «лишней детали» я мучился, как обезьяна с астролябией. Безнадежно…

– Не тушуйся, – каркал наставник. – Это уже работа по мастерам. Ты еще не стар.

И подлил масла в огонь, уничтожающий мои представления о том, как надо писать:

– Десятое. Вставляй лишние, ненужные по смыслу слова. Но чтоб без этих слов – пропадал смак фразы. На стол клади «Мольера» Михаила Афанасьевича.

И жезлообразный его палец пустил неправедное движение моей жизни в очередной поворот, столь похожий на откос. По старому английскому выражению, «я потерял свой нерв». В марте, через полтора года после начала этого самоубийства, я привел и сказал, что буду беллетристом, а еще лучше – публицистом. И поднял руки.

Одиннадцатое,– холодно вымолвил мой Люцифер. – Когда решишь, что лучше уже не можешь, напиши еще три вещи. Потом можешь вешаться или идти в школьные учителя.

Все кончилось в мае месяце. Хороший месяц – и для начала, и для конца любого дела.

– Молодой человек, – обратился он на «вы». – У вас есть деньги?

Денег не было давным-давно. Я стал люмпеном.

– Мне наплевать. Украдите, – посоветовал он. – Придете через час. Принесите бутылку хорошего коньяку, двести граммов кофе, пачку табаку «Трубка мира» и самую трубку работы лично мастера Федорова, коя в лавке художника стоит от тринадцати до сорока рублей. Не забудьте лимон и конфеты «Каракум».

Восемь книг я продал в подворотне букинистического на Литейном. Камю, Гамсуна и «Моряка в седле» я с тех пор так и не возместил.

Лимон пришлось выпрашивать у заведующей столом заказов «Елисеевского».

– Вот и все, молодой человек, – сказал он. – Учить мне вас больше нечему.

Я не сразу сообразил, что это – он. Он был в кремовом чесучовом костюме, голубой шелковой сорочке и черно-золотом шелковом галстуке. На ногах у него были бордовые туфли плетеной кожи и красные носки. Он был чистейше выбрит и пах не иначе «Кельнской водой № 17». Передо мной сидел аристократ, не нуждавшийся в подтверждении своего аристократизма ежедневной публикой.

Благородные кобальтовые цветы на скатерти белее горного снега складывались из буковок «Собственность муниципаля Берлина, 1900». Хрустальные бокалы зазвенели, как первый такт свадьбы в королевском замке.

– Мальчишкой я видел Михаила Чехова, – сказал хозяин, и я помертвел: я не знал, кто такой Михаил Чехов. – Я мечтал всю жизнь о литературной студии. Не будьте идеалистом, мне в высшей степени плевать на все; просто – это, видимо, мое дело.

Не обольщайтесь, – он помешал серебряной ложечкой лимон в просвечивающей кофейной чашке. – Я не более чем дал вам сумму технических приемов и показал, как ими пользуются. Кое на что раскрыл вам глаза, закрытые не по вашей вине. Сэкономил вам время, пока еще есть силы. С толком ли – время покажет…

В его присутствии сантименты были немыслимы; уже потом мне сделалось тоскливо ужасно при воспоминании об этом прощании.

Сколько породы и истинной, безрекламной значительности оказалось в этом человеке!.. Он мог бы служить украшением любого международного конгресса, честное слово. Эдакий корифей, снизошедший запросто на полчаса со своего Олимпа.

Он потягивал коньяк, покачивал плетеной туфлей, покуривал прямую капитанскую трубку. И благодушно давал напутственные наставления.

– Читайте меньше, перечитывайте больше, – учил он. – Четырех сотен книг достаточно профессионалу. Когда классический текст откроет вам человеческую слабость и небезгрешность автора – вы сможете учиться у него по-настоящему.

– Читая, всегда пытайтесь улучшать. Читайте медленно, очень медленно, пробуйте и смакуйте фразу глазами автора, – тогда сможете понять, что она содержит, – учил он.

– Торопитесь смолоду. Слава стариков стоит на делах их молодости. Возрастом пика прозаика можно считать двадцать шесть – сорок шесть; исключения редки. Вот под пятьдесят и займетесь окололитературной ерундой, а раньше – жаль.

…Позже, крутясь в литераторской кухне, я узнал о нем много – все противоречиво и малоправдоподобно. Те два года он запрещал мне соваться куда бы то ни было, натаскивал, как тренер спортсмена, не допускаемого к соревнованиям до вхождения в форму.

– Умей оттаскивать себя за уши от работы, – учил он. – Береги нервы. Профессионализм, кроме всего прочего – это умение сознательно приводить себя в состояние сильнейшего нервного перевозбуждения. Задействуются обширные зоны подсознания, и перебор вариантов и ходов идет в бешеном темпе.

– Кстати, – он оживлялся, – сколь наивны дискуссии о творчестве машин, вы не находите? Дважды два: познание неисчерпаемо и бесконечно, применительно к устройству человек – также. Мы никогда не сможем учесть – а значит, и смоделировать – механизм творческого акта с учетом всех факторов: погоды и влажности воздуха, ревматизма и повышенной кислотности, ощущения дырки от зуба, даже времени года, месяца и суток. Наши знания – «черный ящик» – ткни так – выйдет эдак. Моделируем с целью аналогичного результата. Начинку заменяем, примитивизируя. Шедевр – это нестандартное решение. Компьютер – это суперрешение суперстандарта, это логика. Искусство – надлогика. Другое дело – новомодные теории типа «Каждый – творец» и «Любой предмет – символ»; но тут и УПП слепых Лувр заполнит, зачем ЭВМ. Нет?)

– Художник – это турбина, через которую проходит огромное количество рассеянной в пространстве энергии, – учил он. – Энергия эта являет себя во всех сферах его интеллектуально-чувственной деятельности; собственно, сфера эта едина: мыслить, чувствовать, творить и наслаждаться – одно и то же. Поэтому импотент не может быть художником.

Он величественно воздвигся и подал мне руку. Все кончилось.

Но на самом деле все кончилось в октябре, когда я вернулся с заработков на Северах, проветрив голову и придя в себя. Неделю я просаживал со старыми знакомыми часть денег, а ему позвонил второго октября, и осталось всегда жалеть, что только второго.

Тридцатого сентября его увезли с инфарктом. Через сорок минут я через справочные вышел по телефону на дежурного врача его отделения и узнал, что он умер ночью.

Родни у него не оказалось. В морге и в его жилконторе мне объяснили, что необходимо сделать, если я беру это на себя.

Придя с техником-смотрителем, я взял ключ у соседей и с неловкостью и стыдом принялся искать необходимое. Ничего не было. Все, что полагается, я купил в ДЛТ, а на Владимирском заказал венок и ленту без надписи. Вряд ли ему понравилась бы любая надпись.

Зато в низу буфета нашел я пачищу своих опусов, аккуратно перевязанную. Они были там все до единого.

И еще четыре пачки, которые я сжег во дворе у мусорных баков.

А в ящике письменного стола, сверху, лежал конверт, надписанный мне, с указанием вскрыть в день тридцатилетия.

Я разорвал его той же ночью и прочитал:

«Не дождался, паршивец? Тем хуже для тебя.

Ты не Тургенев, доходов от имения у тебя нет. Профессионал должен зарабатывать. Единственный выход для таких, как ты, – делать халтуру, не халтуря. Тем же резцом! Есть жесткая связь между опубликованием и способностью работать в полную силу. Работа в стол ведет к деградации. Кафка – исключение, подтверждающее правило. Булгаков – уже был Булгаковым. Ограниченные лишь мифологическими сюжетами – были, однако, великие художники. Надо строить ажурную конструкцию, чтобы все надолбы и шлагбаумы приходились на предусмотренные свободным замыслом пустоты: как бы ты их не знаешь.

А иначе приходит ущербное озлобление. Наступает раскаяние и маразм. «Он бездарь! Я могу лучше!» А кто тебе не велел?.. Раскаяние и маразм!»

Несколько серебряных ложек, мейсенских чашек и хрустальных бокалов оказались всеми его ценностями. Потом я долго думал, что делать с тремя сотнями рублей из комиссионок, не придумал, на памятник не хватило, и я их как-то спустил.

Ночью после похорон я опять листал две амбарные книги, куда записывал все слышанное от него.

«Учти „хвостатую концовку", разработанную Бирсом.»

«Выруби из плавного действия двадцать лет, стыкуй обрезы – вот и трагическое щемление.»

«Хороший текст – это закодированный язык, он обладает надсмысловой прелестью и постигается при медленном чтении.»

«Не бойся противоречий в изложении – они позволяют рассмотреть предмет с разных сторон, обогащая его.»

«Настоящий рассказ – это закодированный роман.»

«Короткая проза еще не знала мастера контрапункта.»

И много еще чего. Все равно не спалось.

День похорон был очень какой-то обычный, серый, ничем не выдающийся. И он лежал в гробу – никакой, не он; Да и я знаю, как в морге готовят тело к погребению…

Звать я никого не хотел, заплатил, поставили гроб в автобусе и я сидел рядом один.

Северное кладбище, огромное индустриализованное усыпалище многомиллионного города, тоже к размышлениям о вечности не располагало в своем деловом ритме и в очередях у ворот и в конторе.

Мне вынесли гроб из автобуса и поставили у могилы. Я почему-то невольно вспомнил, как Николай I вылез из саней и один пошел за сиротским гробом нищего офицера; есть такая история.

Прямо странно слегка, как просто, обыденно и неторжественно все это было. Будто на дачу съездить. Но когда я возвращался с кладбища, мне казалось, что я никогда ничего больше не напишу.

КАК ВЫ МНЕ НАДОЕЛИ

1. НОЖИК СЕРЕЖИ ДОВЛАТОВА
Литературно-эмигрантский роман

В Копенгагене я сделал сделку. Заработанные лекциями деньги сунул в свою книжку, а книжку подарил журналистке из газеты с трудновоспроизводимым названием. После чего пошел по магазинам.

Одна из кожгалантерейных лавок прогорала в дым, судя по ценам. Роскошный кейс с номерным замком, стоивший напротив полторы тысячи крон, здесь предлагался за сто пятьдесят. Я вспотел, час пытаясь обнаружить суть подвоха. Жалко тратиться на подарок себе самому, разве что ты на этом здорово экономишь. Бедный пластмассовый дипломат мне омерзел. При малейшем недосмотре он вдруг делал «Сезам, откройся!», вытряхивая барахло под ноги прохожим. В Венеции он раскрылся на мосту, и фотоаппарат прыгнул из него в канал, только булькнул. Ненавижу Венецию.

Магазин закрывался. Я принял решение. Продавщица сломала ноготь, выставляя мои любимые числа. После чего я достал бумажник и показал ей, что там пусто. В более темпераментной стране меня бы убили.

Вялый народ эти датчане. Недаром викинги перед дракой нагрызались мухоморов.

Редакцию все давно покинули. Журналистка отправилась проводить уик-энд на яхте. Вы видели фильм «Торпедоносцы»? Так яхт там чертова прорва, все берега заставлены.

Пароход у меня уходил в восемь утра! А через наш банк получишь лишь соболезнование о валютных трудностях державы. В кармане брякала мелочь, сигареты кончались. Хотелось жрать. Хотелось выпить и отвести душу.

Я побрел найти немного понимания к московской знакомой, недавней эмигрантке. Она жила в центре, зато без горячей воды. Мы выпили водки, закусили бананом и обматерили Данию. Одна из образцовых…

Последним ее впечатлением о родине было знакомство с Александром Кабаковым. Это сильное и приятное впечатление еще не изгладилось, оно подпитывало ее интеллектуальный патриотизм.

Пока она по частям мылась холодной водой, я стал читать «Сочинителя». Автор наслаждался мужской любовью интеллигента к женщине и оружию. «Он с треском вспорол брезент швейцарским офицерским ножом с латунным крестом на рукояти».

Если швейцарские офицеры соответствуют своим ножам, то их можно ловить сачками. Я начал открывать дипломат, и меж блокнотов и книг вылетел под ноги замерзшей хозяйке именно швейцарский офицерский нож. Он размером в палец. Со множеством складных штучек для облегчения офицерской службы. Им можно нарезать колбасу, открыть бутылку, провертеть дырочку для ордена и вырвать волосок из носу.

Случайно, стало быть, на ноже карманном найди отметку дальних стран.

Этот ножик подарил мне Довлатов. В таллинском журнале «Радуга» мы напечатали впервые в Союзе его рассказы, и он переслал редакции подарки: пробный флакончик французских духов, что-то пишущее и складной ножик с латунным крестиком на вишневой пластмассовой щечке. Редакция была дамская, ножик взял я. Приложенная в футляре инструкция на пяти языках, включая китайский, просвещала: «Швейцарский офицерский нож! Из наилучшей стали!» Китайский язык объяснялся местом изготовления: там дешевле.

Теперь-то мы изведали качества дешевых китайских товаров. Возможно, оно основано на надежде свести продолжительность, и без того краткую, нашей жизни, и без того горестной, к веку воробья, истребленного рисоводческим кооперативом. Страдающие недостатком жизненного пространства китайцы умны, терпеливы и настойчивы. Их зоркие, прицельной суженности глаза вежливо смотрят через Амур. Восток научился проницать удаленность времени и пространства задолго до скудоумных итальянцев с примитивом их линейно-геометрической перспективы. И в дальней перспективе, где держава перетекает и делится, как амеба, никуда мы не денемся от передела территорий. Пьеса о территориальном суверенитете написана давно и называется «Собака на сене».

Когда-то я жил на китайской границе, на Маньчжурке. Рубежная станция Забайкальск называлась тогда Отпор! Доотпирались.

И китаец звучало у нас символом честности и трудолюбия. Несравненное качество китайского ширпотреба памятно старикам. Равно как и победоносная борьба с мухами, воробьями и гоминдановцами. Смелый, как тигр. Двадцатизарядный маузер Ли Ван-чуня не могло заклинить.

Восторгающие «Пионерскую правду» любовь и уважение к братским китайцам не мешали пацанве травить бурятов. То, что буряты жили в этой степи спокон веков, было их личным и никого не колышащим горем. Бурят было словом ругательным. Синонимом его было слово дундук.

Много лет спустя, студентом ленинградского университета, практикант в журнале «Нева», я с недоверчивым удивлением узнал от завпрозой, покойного Владимира Николаевича Кривцова, писавшего тогда роман о первом российском после в Китае отце Иакинфе Бичурине, что до революции, при изрядной малограмотности в России, мужчины – монголы и буряты были грамотны поголовно и весьма. Мальчиков отдавали на воспитание в дацаны, откуда они возвращались обученными и причастившись восточных мудростей. Это мы им потом дацаны закрыли, лам перешлепали, а прочим ввели кириллицу: Маша мыла раму.

Вот в том же отделе прозы я впервые услышал фамилию Довлатова. Я вообще услышал там много нового и интересного. Например, что Октябрьская революция – ну и что, сделали лучше? Я клацнул от неожиданности своими белыми комсомольскими зубами; что же касается ответа, так это сейчас, двадцать три года спустя, все стали умными и храбрыми.

За эти двадцать три года задавший мне этот вопрос с ехиднейшей и ласковой улыбкой Самуил Аронович Лурье, старший (и тогда единственный) редактор отдела, ах Джон, а ты совсем не изменился. Неизменно – худ, лыс, сутул, узкоплеч и очкаст: гуманитар-интеллигент, разве что зав в том же отделе. Нужно было пережить застой, перестройку, распад, полдюжины главных и ответсекров, непотопляемо пройти скандалы и суды, сдать роскошные покои фирмам нуворишей и ужаться в боковые комнатки, обнищать и уменьшить формат на скверной бумаге, чтоб открылось: что сутулость скрадывает высокий рост, из растянутых рукавов свитера торчат ширококостные волосатые запястья, в объятии Саша Лурье жилист и тверд на ощупь, и хорошо познается в способности твердо принимать любое количество спиртного, отличаясь изящнейшим умением по мере возлияния интимно изливать гадости тому, кто платит за выпивку. Учитывая должность и реноме лучшего ленинградского критика, поставить ему хотели многие. Справедливость требует отметить, что из этих многих у очень малых доставало умственных способностей вычленить суть витиевато-иронических фраз, которые с тонкой ухмылкой накручивает им на уши поимый собеседник.

Лурье и пересек меня с Довлатовым забавным образом. Это образ всех его действий.

Я был старательным практикантом. И мою старательность решили поощрить материально. Возможно, к тому отдел прозы подтолкнула совесть. В течение месяца всю работу в охотку делал я один, освободив зава и редактора для их собственных творческих нужд. Я не перенапрягся. В числе непонятого мною в литературой жизни осталось, чем могут заниматься

в ежемесячном журнале больше трех человек. Некрасов был вообще один, не считая как раз Авдотьи Панаевой и ее мужа Панаева: их функции изучены литературоведами и понятны. Мое непонимание встречает у тружеников редакций раздраженный протест.

Меня решили оплатить посредством редакционного гонорара за отшибную внутреннюю рецензию, из расчета три рубля за авторский лист рецензируемой рукописи.

– Миша, – сказал Лурье, вручая мне папку с надписью «Сергей Довлатов. – Зона.», – пусть совесть вас не мучит. Напечатать мы это все равно не можем. Увидите: там зэки, охранники, пьянки, драки – Попов (главред) этого не пропустит в страшном сне. А если чудом решил бы пропустить – снимет цензура. А если не снимет – то снимут нас всех. Но этого, к счастью, произойти не может, потому что Попов дорожит своим креслом, и если встречает в тексте слово «грудь», он подчеркивает его красным карандашом и гневно пишет на полях: «Что это?!». И это после нашей редактуры. А если он увидит слово, например, «сиськи», его просто свезут в сумасшедший дом. Так что – пишите. Сами понимаете. Обижать человека не надо, хороший парень, я его знаю, в общем, все равно это не литература… сочините что-нибудь такое изящное, отметьте достоинства, недостатки, посетуйте в заключение, что «Нева» не может это опубликовать. И обязательно пожелайте творческих успехов автору. Страниц пять, больше не нужно. Дерзайте: я не сомневаюсь, что у вас получится.

Вспоминая о Хемингуэе, Джек Кейли пишет: «При первом знакомстве Хемингуэй произвел на меня впечатление туповатого парня, и не раз производил такое же впечатление впоследствии». Таким образом, «Зона» не произвела на меня впечатление литературы. К моему облегчению, не пришлось даже кривить душой. Я всего лишь подошел к решению задачи с предварительным умыслом и готовым ответом. Позднее я узнал, что это называется журналистским профессионализмом.

И все-таки «Зона» без нажима запоминалась. Она была не похожа на прочее, идущее в журналах.

Первая в моей жизни рецензия была лестно оценена талантливым ленинградским критиком и редактором Лурье и принесла мне тридцать рублей. Именно и ровно. Первый в жизни гонорар памятен, за что получен – памятно менее, а уж ничего не значащая фамилия автора, послужившая лишь предлогом к гонорару, изгладилась из воспоминаний быстро и начисто за событиями более интересными и значительными. С утра до ночи один в отделе я сортировал рукописные завалы, писал письма, правил гранки и в пределах малых полномочий дипломатично беседовал с посетителями, принимая свежие рукописи и уклоняясь решительных ответов. Предмет моего злорадного торжества составило редактирование идущей в набор повести великого письменника Глеба Горышина про то, как он поехал на Камчатку, землепроходец. На Камчатку двумя годами ранее я на спор добрался за месяц без копейки денег от Питера, и цыдулю Горышина, пользуясь анонимной безнаказанностью внутриредакционной машины, перередактировал вдрызг. Опасался, что маститый автор возбухнет по ознакомлении с публикацией, но позднее не воспоследовало ни звука. Цимес был в том, что проходивший в Ленинградской писорганизации под кличкой «Змей Горышин», обликом более всего напоминая сподвижника Карабаса-Барабаса пьявколова Дуремара, а бездарностью казеиновую сосиску, являлся вышеупомянутой организации третьим секретарем, то есть имел довольно власти испортить кровушку любому.

За этим самозабвенным бесчинством и застал меня друг-однокашник Серега Саульский, трепетно донесший в редакцию свое первое прозаическое произведение. Заготовив фразы к беседе, он постучал под табличкой «Отдел прозы» и водвинулся с почтительным полупоклоном.

– Присаживайтесь, добрый день, – казенно-приветливо бросил я, не отрываясь от художественного выпиливания по тексту.

– А… э… – подал ответный звук посетитель, и я узрел выпученные саульские глаза и отпавшую челюсть. За двухметровым редакторским столом сидел я без пиджака, и смотрел вопросительно.

С полминуты Саул напряженно соотносил визуальный ряд с семантическим. Потом выматерился и закрыл рот.

– Сука, – сказал он. – Пришел на хрен в святая святых. Молодой автор, тля, с трепетом. Первый рассказ на суд толстого журнала. А там Мишка Веллер в домашних тапочках.

– Гадская жизнь, – согласился я. – Когда кадет Биглер становится генерал-майором и лично является беседовать с Богом, то Богом уже работает капитан Сагнер.

– А ты кем здесь работаешь?

– Практикуюсь.

– Я вижу. Так рассказ-то есть кому дать прочесть?

– Есть.

– Кому?

– Мне.

– Тебе-то на хрена?

– Прочту.

– Спасибо. Большое спасибо.

– Пожалуйста. Это наша работа.

– А дальше?

– Могу написать на него рецензию, – предложил я.

– Зачем?

– Для гонорара.

– И много ты уже написал?

– До фига. Одна под рукой – хочешь прочитать?

«Я иногда думаю,– признался Саул много позднее,– что вот это несовпадение ожидаемого и встреченного так на меня тогда подействовало, что именно поэтому я в „Неву" ничего больше не носил. И никуда не носил. И вообще писать прозу бросил. К счастью. А вдруг, думаю, там опять какая-нибудь знакомая падла сидит. Разрушил ты, Михайло, хрустальную мечту юной души о храме высокой литературы.»

Мы с ним нажирались тогда в Париже, куда он переселился давным-давно, перебирая славные воспоминания.

– Ты писал хорошо, – сказал я.– Как, впрочем, и все, что ты делал. И бросал. Зря. Жаль.

Эта была правда. Боксеры завидовали его боксу, барды – песням, журналисты – статьям, и все вместе и люто – его успехам у баб.

– Да ну, Михайло, какая на хрен литература, – сплюнул он с гримасой суперменистого киноактера в роли неудачника. – Кому, зачем… Когда Кортасар работал здесь в ЮНЕСКО, коллеги в комнате не подозревали, что он чего-то там пишет. Было время Солженицына всюду продавали на килограммы – его знали. Вот Лимонов надрывался шокировать, как он негру минет на помойке делал – ошарашил: уровень откровенности непривычный; у всех метро продавали. Европейская культура… Хотя французскую любовь придумали, сами они полагают, французы, но если бы Бодлер описал на уличном арго, как он делает минет Рембо, французы бы сильно удивились.

Еще в СССР еще в миллионнотиражных журналах еще шумела дискуссия о праве на литературную жизнь табуированных слов. С ученым видом поднимаясь над интеллигентской неловкостью, полумаститые писатели и доктора филологии защищали в печати права мата на литературное гражданство, светски впиливая в академические построения ядреный корень. Сыты лицемерием, хватит, свобода так свобода. Урезать так урезать, как сказал японский генерал, делая себе харакири. Уж отменять цензуру – так отменять, значит.

Из скромности я помянул, что первым в СССР табуированные, они же неприличные, нецензурные, матерные, грязные, площадные, заборные, похабные, слова напечатал ваш покорный слуга зимой 88-го года в таллинском журнале «Радуга». Мы в трех номерах шлепнули кусок из аксеновского «Острова Крыма» и, балдея от собственной праведности, нагло приговорили: мы не ханжи, из песни слова не вырубишь топором, автор имеет право. В набранном тексте матюги торчали дико. Глаз на них замедлялся и щелкал. Главный скалил зубы и подначивал: «Давай-давай!». Союз трещал, Эстония уплывала в независимость, главный был из лидеров Народного фронта, уже никто ничего не боялся – с на полгода опережением российских событий, свобод и самочувствий: мат был волей, реваншем, кукишем. В этом опережении России скромная «Радуга» первой в Союзе дала и Бродского, и Аксенова, и «Четвертую прозу», и до черта всего. Смешное время; веселое; знали нас, знали, в столицах выписывали. Что мат.

Материться, надо заметить, человек умеет редко. Неинтеллигентный – в силу бедности воображения и убогости языка, интеллигентный – в неуместности статуса и ситуации. Но когда работяга, корячась, да ручником, да вместо зубила тяпнет по пальцу – все фонемы, что из него тут выскочат, будут святой истиной, вырвавшейся из глубины души. Кель ситуасьон! Дэ профундис. Когда же московская поэтесса, да в фирменном прикиде и макияже, да в салонной беседе, воображая светскую раскованность, женственным тоном да поливает – хочется послать ее мыть с мылом рот, хотя по семантической ассоциации возникает почти физическое ощущение грязности ее как раз в противоположных местах.

Вообще чтобы святотатствовать, надо для начала иметь святое. Русский мат был подсечен декретом об отделении церкви от государства. Нет Бога – нет богохульства. Алексей Толстой: «Боцман задрал голову и проклял все святое. Паруса упали.» Гордящийся богатством и силой русского мата просто не слышал романского. Католический – цветаст, изощрен – и жизнерадостен. «Ме каго эн вейнте кват-ро кохонес де досе апостолес там бьен эн конья де ля вир-хен путана Мария!» Вива ла република Эспаньола.

Экспрессия! Потому и существует языковое табу, что требуются сильные, запредельные, невозможные выражения для соответствующих чувств при соответствующих случаях. Нарушение табу – уже акт экспрессии, взлом, отражение сильных чувств, не вмещающихся в обычные рамки. Нечто экстраординарное.

Снятие табу имеет следствием исчезновение сильных выражений. Слова те же, а экспрессия ушла. Дело ведь не в сочетании акустических колебаний, а в информации, в данном случае – эмоционально-энергетической, которую оно обозначает. Дело в отношении передатчика и приемника к этим звукам. Запрет и его нарушение включены в смысл знака. При детабуировании сохраняется код – информация в коде меняется. Она декодируется уже иначе. Смысл сужается. Незапертый порох сгорает свободно, не может произвести удар выстрела. На пляже все голые – ты сними юбку, обнажи жопу в филармонии. Условность табу – важнейший элемент условности языка вообще. А язык-то весь – вторая сигнальная, условная, система. С уничтожением фигуры умолчания в языке становится на одну фигуру меньше – а больше всего на несколько слов, которые стремительно сравниваются по сфере применения и выразительностью с прочими. Нет запрета – нет запретных слов – нет кощунства, стресса, оскорбления, эпатажа, экспрессии, кайфа и прочее – а есть очередной этап развития лингвистической энтропии, понижения энергетической напряженности, эмоциональной заряженности, падения разности потенциалов языка. Обогащаясь формально, язык обедняется по существу. Дважды два. Я так думаю, сказал Винни-Пух.

Ладно: писатели неучи, филологи идиоты, – обратились бы к Лотману за разъяснениями; сдались они ему все, у него жена болеет…; Зара была еще жива, и Лотман был жив.

Ага; вот поэтому в самых половых сценах писаний Лимонова или его жены Медведевой эротического чувства, со-возбуждения для читателя не больше, чем для старого гинеколога –

в сотой за прием раскоряченной на кресле старухе. Ну, есть такое место, такие движения, и что. Обыденность слова сопрягается с обыденностью фразы и сцены. Возникает импотенция текста. Что связано с импотенцией, кстати, телесной, это вполне испытали на себе просвещенные раскрепощенные французы. Чего волноваться – обычное дело кушать, выпивать, зарабатывать деньги и совмещать свои половые органы. А волнение – это избыток чувства, энергии, а если ничем никогда не сдерживать – не будет избытка, а отсутствие избытка – слабосилие, упадок, конец. Вам привет от разврата упадшего Рима. Закат Европы. Смотри порники: там же никогда ни у кого толком не стоит. Работа такая.

Сим макаром к концу второй бутылки обнаружив, что литературная тема беседы естественно и плавно перетекла в сексуальную, мы ностальгически посмаковали приключения ленинградской молодости, помянув и лихой заезд с портфелем «Рымникского» к двум красивым подругам, оказавшимся ночью злостными лесбиянками, чему предшествовала та встреча в редакции.

– Читаю я твою рецензию: ни хрена себе, думаю, сидит Мишка тут и решает, кого печатать, а кому отказать, а ему еще деньги за эти отказы платят! И только собираюсь предложить – напечатай, мол, а гонорар вместе пропьем, как он и говорит: будь моя воля, я бы это, конечно, из интереса напечатал. Эге, думаю, парень, да тебе печататься легче чем ему ровно на одну инстанцию – на себя самого. Так что теперь – настала твоя воля?

– Воля моя, воля… Наливай да пей.

– Сейчас тут Довлатова всего издали. Вижу – «Зона»: вспомнил, дай, думаю, куплю – о чем хоть речь-то шла. Ты его знал? – спросил Саул.

– О, провались он пропадом, – сказал я. – И в Париже, в Венсеннском лесу, под луной, нет мне покоя!

Много лет Довлатов был кошмаром моей жизни.

Кто ж из нынешней литературной братии не знал Сережи Довлатова? Разве что я. Так я вообще мало кого знаю, и век бы не знал. Он со мной общался, как умный еврей с глупым: по телефону из Нью-Йорка. То есть просто все мои знакомые были более или менее лучшими его друзьями: все мужчины с ним пили, а все женщины через одну с ним спали, или как минимум имели духовную связь. Большое это дело – вовремя уехать в Америку.

Он сыграл в делах моих, этом дурном сне, большую роль. Ее нельзя назвать слишком позитивной. Это была роль шагов Командора за сценой. Хотя сам он о том не мог предполагать. Когда я узнал о нем, он уже никак не мог знать обо мне: он уже свалил. Чем еще раз подчеркивалось его умственное превосходство.

В ту эпоху звездоносный генсек Брежнев придал новое и совершенно реальное значение метафоре «ни жив ни мертв». Реанимация напоминала консилиум над телом Буратино. С неживой невнятной речью и неживыми ошибочными движениями он выглядел кадавром столь законченным, что из года в год представлялся все более бессмертным. То есть "разум понимал, что ему полагается умереть, но эта в любой момент возможная и ожидаемая, но никогда не наступающая смерть в конце концов стала столь же неопределенно-отдаленной абстракцией, как тепловая смерть вселенной. Его состояние на грани иного мира стало константой общественного бытия.

В этом общественном бытии моим рассказам места не было. На чем настаивали все известные мне журналы и издательства. Мое сознание не хотело определяться бытием. Сделай или сдохни.

Эстония в Ленинграде славилась изобилием и либерализмом. Бытие и сознание здесь были подточены поздним приходом советской власти и приемом финского телевидения. Ветерок дотягивал в щель форточки забитого окна, которое Петр прорубил в Европу. Светил какой-то шанс.

В издательстве «Ээсти Раамат» рукопись одобрили в принципе.

– Но есть одно условие. Мы издаем книги только местных авторов, живущих здесь постоянно.

Ясно. Естественно. А то поднапрет разных, захлестнет вал. Да я буду жить в Кушке, в Уэллене, в Дудинке, только оставьте шанс. Не уверенность, не гарантию: хоть запах реального шанса.

– Таллинн режимный город, – сказали в паспортном столе. – Для прописки нужно ходатайство с места работы, оно будет рассматриваться. А на какую площадь вы хотите прописаться?

В республиканской газете «Молодежь Эстонии» посмотрели мои старые вырезки из многотиражек:

– Мы вас возьмем. Есть штатная вакансия. Но, конечно, нужна прописка. Вы уже переехали в Таллинн?

И я проволокся сквозь все круги обыденного бюрократического ада, коридоры, очереди, заявления, выписки, справки, резолюции, подписи, печати, милиции, паспорта, жилконторы, очереди, записи, очереди, и переехал в Таллинн.

И первое, что меня спросили в Доме Печати:

– А Сережку Довлатова ты знал?

– Нет, – пожимал я плечами, слегка задетый вопросами о знакомстве с какой-то пузатой мелочью, о ком я даже не слышал. – А кто это?

– Он тоже из Ленинграда, – разъяснили мне. Я вспомнил численность ленинградского населения; три Эстонии с довеском.

– Он тоже писатель. В газете работал.

– Где он печатался-то?

– Да говорят же: вроде тебя.

Это задевало. Это отдавало напоминанием о малых успехах в карьере. Я не люблю тех, кто вроде меня. Конкурент существует для того, чтобы его утопить. Я не интересовался салонами, компаниями и «внутрилитературным движением рукописей»; слово андеграунд еще не употреблялось, как и слово тусовка.

– Серенька был, можно сказать, первое перо Дома Печати.

Мое перо, трудолюбивый и упрямый ишак, не хотело писать для Дома Печати. Мне было тридцать, и пять лет я не делал для заработка ни строчки. Халтура – смерть. Но для книги требовалась прописка, а для прописки авторитетная работа. В детстве доктора говорили, что у меня повышенный рвотный рефлекс.

Над первым материалом, заметкой о знатной учительнице, я потел и скрежетал неделю. Я добивался глубин мысли, блеска стиля и изысканной лаконичности – при сохранении честности. Я был ишак.

В результате истачал маленький газетный шедевр. Главный редактор, человек добрый настолько, что редакция жрала его поедом, не давясь отсутствующим хребтом, Вольдемар Томбу, тактично подчеркнул несколько строк:

– Вот вы пишете: ибо во многой мудрости много печали… Разве на самом деле это так? Вы правда так думаете?..

– Э…– замялся я.– Но ведь это, в общем… фраза известная, расхожая, так сказать… из классики.

Томбу помолчал. Спросить откуда не позволяло его положение. Про Экклезиаста я, по понятным причинам, акцентировать не стал. Склонность к цитированию Священного писания не могла быть поощрена органом ЦК комсомола, хотя бы и Эстонии.

– Ну, – мягко улыбнулся Томбу, – мы ведь с вами понимаем, что в общем это же не так?.. Давайте лучше напишем: «Ибо во многой мудрости много пищи для размышлений». Согласны? Вот, – добрым голосом заключил он.

Драли с тех пор меня многочисленные редакторы, как с сидоровой козы семь шкур, но и поныне пикантнейшим из воспоминаний остается первое сотрудничество с эстонской прессой: как редактор «Молодежки» отредактировал царя Соломона.

Да. Оптимизм – наш долг, сказал государственный канцлер.

Через месяц, поставив руку, я строчил, как швея-мотористка. В работе газетной и серьезной плуг ставится на разную глубину. Наука это нехитрая: как оперному певцу научиться снимать голос с диафрагмы, чтоб тихонько подвывать шлягер в микрофон. По мере практики голос, без микрофона, начинает «срываться с опоры», «качаться» – и оперному певцу хана. Писание на Бога и на газету – при формальном родстве профессии принципиально разные, смешивание их дает питательную среду для графомании и алкоголизма.

Однако в штат меня ставить не торопились. Говорили комплименты, с ходу печатали все материалы, исправно выдавали гонорар, а вот насчет штата Томбу уклончиво успокаивал, просил обождать недельку. Шли месяцы.

Много лет спустя я узнал, что добрый и честный Томбу раз в неделю ходил в ЦК и устраивал тихий эстонский скандал.

– Человек специально приехал из Ленинграда, – разъяснял он. – Журналист высокой квалификации. Была предварительная договоренность. Я сам его пригласил на место. Обещал. Место пустует. Брать некого.

– Что значит некого. Почему же вы не готовите кадры.

– У нас не журфак и не курсы повышения квалификации. У нас республиканская газета. Вас волнует уровень вашей газеты?

– Нас волнует истинное лицо сотрудников нашей газеты. Просто так из Ленинграда не уезжают, знаете. Чего он уехал?

– Полмиллиона русских приехали сюда из России,– кротко отвечал Томбу. – Вы хотите поднять вопрос, почему они уехали из России?

– Он нерусский,– сдержанно напоминали в ЦК.– У нас в русских газетах и так работает половина евреев.

– Так что мне теперь, в газовую камеру его отправить? – не выдерживал Томбу.

– Не надо шутить. А если он возьмет и уедет в Израиль?

– Если бы он хотел поехать в Израиль, то почему он поехал в Эстонию? Перепутал билетную кассу?

– Вы можете ручаться, что он не уедет?

– Да, – говорил Томбу. – Я ручаюсь.

– Толку с вашего ручательства. А историю с Довлатовым вы помните? -» приводили решающий аргумент в ЦК. – Тоже ручались: прекрасный журналист, все в порядке, надо взять, – а чем это кончилось?.. Нам второй раз такой истории не надо.

– При чем здесь Довлатов? – не соглашался Томбу.

– Как при чем? Тоже: писатель, талантливый, из Ленинграда… а потом – скандал, КГБ, рукописи, и эмигрировал в Америку!

– Он его вообще не знал! – отмежевал меня Томбу от бывшего замаскированного врага.

– Одного поля ягоды, – реагировали в ЦК. – Точно тот же вариант. А не знать его он не мог – вы посмотрите, ведь все совпадает, как у близнецов. А он продолжает настаивать, что не знает. Значит, скрывает. Значит, есть что скрывать. Вы понимаете?

Эта майская песня кончилась в сентябре: меня взяли временно на место, как водится, ушедшей в декрет машинистки. Она уже родила, и теперь по утрам тошнило меня. Бессмысленность работы убивала. Какая «вторая древнейшая»! по сравнению с советским газетчиком проститутка вольна, как Ариэль, и богата, как министр Госкомимущества. Я понял, что такое фашизм: это когда добровольно и за маленькую зарплату пишешь обратное тому, что хочешь. В пыточные камеры мне был определен отдел пропаганды. Над столом я прилепил репродукцию

картины Репина «Арест пропагандиста». Глядя на живопись, я поступал в жандармы, крутил руки за спину завотделом пропаганды Марику Левину и, тыча ножнами шашки под ребра, гнал его в сибирскую каторгу. Я стал нервным.

– А вот Серега Довлатов, он запивал иногда, что ты, – поведывали коллеги. – Потом однажды похмелялся, садился с утра, и т-такое выдавал – пачками! Для газеты одно, для себя другое.

Мое для себя другое тем временем тащилось сквозь издательские шестерни. Мельница Господа Бога мелет медленно, успокаивал редактор. История повторялась, как кинодубль с другим составом статистов. Закулисная механика от меня скрывалась.

Умный главный редактор издательства ознакомился с рукописью сам и пошел в ЦК. Пуганая ворона хочет выжечь кусты из огнемета. Или старается договориться с ними лично.

– А почему он уехал из Ленинграда? – спросили его.

– А почему не спросить об этом четверть миллиона русских, которые приехали в Таллинн из России? – спросил Аксель Тамм.

– Это хорошая книга?

– Я бы пришел из-за плохой книги?

– Так почему ее не издали в Ленинграде?

– Я не заведую Лениздатом. Я работаю в «Ээсти Раамат». Кто-то мной недоволен?

– У него были там неприятности? Трения, инциденты?

– Что вы имеете в виду?

– Перестаньте. Вы понимаете, что мы имеем в виду.

– Ничего не было.

– Откуда вы знаете? Вы проверяли?

$ – Нет. Если бы что-то было, я бы знал.

– Это еще надо проверить.

– Проверяйте.

– А почему он приехал именно к нам? Он эстонец?

– Нет, он не эстонец.

– А кто?

– Еврей.

– Так почему он не поехал издаваться куда-нибудь в свою Россию, в Сибирь, в Томск, в Омск?

– Он еврей. Кто его там будет издавать?

– Так почему он не поехал издаваться в свой Израиль? А если он уедет в Израиль?

– Зачем ему ехать в Эстонию, если бы он хотел уехать в Израиль?

– Как знать. Точно так же вы тут несколько лет назад выступали насчет Довлатова. Кого защищали? Алкоголик, диссидент, антисоветчик, арест, посадили: теперь в Америке. Хватит с нас одного.

– Он не имеет никакого отношения к Довлатову.

– Что значит не имеет. Точно то же самое. Не следует ошибаться еще раз.

Машинистка вернулась из декрета. С облегчением и ненавистью я навсегда распрощался с газетной работой. И тут издательство вернуло мне рукопись, сопроводив похеривающей рецензией. Я впал в непривычную растерянность. Совсем не то обещал мне ярл, когда приглашал в викинг.

Я лишился ленинградской прописки. Поменял комнату в суперцентре, Желябова угол Невского, на хибару таллиннской окраины. Дама ваша убита, ласково сказал Чекалинский. Корнет Оболенский, дайте один патрон. Мне было решительно обещано место в республиканской газете. Редактор уверял, что книга прекрасная и проблем с выходом не будет. В итоге я

получил полную возможность поведывать за злым зельем свои печали эстонской кильке пряного посола, закусывая ею из разбитого корыта.

Проклятый мифический Довлатов заварил мне ход. Он выработал Таллинн и свалил. Я шел по его следам, и вся малина на тропе была обгажена. На тропе был насторожен капкан, и я вделся. Я бы его повесил.

– Ну разве не стоит ему за это когда-нибудь въехать? – жаловался я в ответ на очередные легенды о Довлатове. Теперь я помнил хорошо, кого читал и рецензировал в «Неве».

(Ах не фраер Боженька: всю правду видит, да не скоро скажет. Ко мне вернулся мой камушек, из пращи да булдыган в лоб. Много, много лет спустя посетила меня эта суеверная мысль. А вот не шейте вы ливреи, евреи.)

– В нем было два метра росту, – снисходительно говорили мне наши общие приятели.

– Если б во мне было два метра, я бы вообще всех убивал, – злобно цедил я. В боксе есть присказка: длинного бить приятнее – он дольше падает.

Моя биография вдруг стала укладываться в его колею, как складная головоломка, которую мне было не решить.

Куда податься. Для тебя, Веллер, Монголия заграница, сказали когда-то на филфаке, не понимая, за каким хреном и благами я-то влез в комсомольскую работу. Велика Россия, а отступать нам приходится на запад. Некуда мне было ехать. Приехал.

Во-первых, подача заявления на выезд уже автоматически означала, что отец мой вышибается без пенсии из армии, а брат – с волчьим билетом из института. Во-вторых, эмиграция была уже как раз только прикрыта, все, олимпиада прошла, выезд кончился.

А главное – я не мог уехать побежденным. Вот не мог – и хоть ты тресни. Они меня достали. Обложили со всех сторон. Прижали к стенке. И я должен был сделать свое. Не можешь – делай через не могу. Или сдохни. Смысл жизни был прост, как гвоздь в мозгу. Я должен был издать эту книгу здесь, в Союзе. А потом можно валить куда угодно к чертовой матери. Потом точно свалю. Женюсь, сбегу. Но не потому, что они меня победили и заставили. А потому что я сам так решил. Иначе я дерьмо, и так мне и надо. Я не буду неудачником.

Воспитание в далеких гарнизонах и мордобой в хулиганской юности способствуют целеустойчивости.

Оставалось одно. Сидеть на месте и тихой сапой рыть траншею вперед и вверх. А там – хоть это не наши горы, но тихо-тихо ползи, улитка, по склону Фудзи вверх, до самой вершины. Хэйко банзай!

Но раздражение мое нетрудно себе представить. Мало мне своих бед – так еще тень довлатовских подвигов простерлась на меня.

Летом я отправился на Таймыр и завербовался на промысловую охоту. Работа жестокая и грязная, усталость и недосып, гнус жрет, и все переживания мельчали и утрясались: а нет причин для тоски на свете, слушай, детка не егози.

Вот когда в пустыне меня, ловца-салагу, гюрза ударила – о, это было переживание. Ни водки, ни сыворотки, и дневной переход до лагеря. Укус был под локоть, а его на-кося выкуси, сам себе не отсосешь. Выдавливай надрез да чиркай в него спички.

Я просыпался до срока от наработанной зимней бессонницы, крутил приемник у костерка, вылавливая музыку далеких цивилизаций, ребята постанывали во сне, дергая изрезанными руками, и я в привычный за которое уже лето раз ощущал себя на самом краю земли, и из этого далека все эти несмертельные мои проблемы казались простыми и ясными: есть шанс? паши и не дергайся.

Заработка должно было хватить на прокорм до следующего лета. Вернувшись, я переложил печку в камин, колол дрова, гулял по взморью, писал рассказы; готовил сборник. Сдав его в издательство, спокойно ждал, что и его выпнут, я составлю следующий и принесу его, и

в конце концов протаранится, в жизни нужна тактика бега на длинную дистанцию, не рви со старта, не суетись, и удача благосклонна к тем, кто твердо знает, чего хочет.

Пытка неизвестностью придумана давно и действует исправно. Тихо-тихо тянула из меня все жилы издательская машина. Я мог лишь ждать и не сорваться – никто, ничто и звать никак. Пассивный залог в русском языке называется страдательным.

На выход книги я поставил все. Больше у меня в жизни ничего не было. Я покинул свой город, семью, любимую женщину, друзей, отказался от всех видов карьеры, работы, жил в нищете, экономил чай и окурки, ничем кроме писания не занимался.

Никогда не бывает так плохо, чтоб не могло быть еще хуже.

Год шел за годом. Ночами я детально обдумывал поджог дома рецензента, убийство редактора, самосожжение в издательстве. Я бы спился, но пить было не на что. А зарабатывать деньги на пропой, тратя необходимые на писание время и силы, было идиотством.

Позднее вскрылись и донос в КГБ – на что живет? тайные деньги с Запада! – с последующей годичной проверкой, и письмо в Госкомиздат СССР – вредная, чуждая рукопись! – и внутренние счеты и интриги: штатные доброжелатели из литературно-осведомительских структур бдели.

Пронеслось четыре года… Это ново? так же ново, как фамилия Попова, как холера и проказа, как чума и плач детей.

И когда вышла «Хочу быть дворником», клиент был готов. Я лежал. Разделить радость мне было не с кем, да и не было никакой радости. Он один был в своем углу, где секунданты даже не поставили для него стула. Вставал я для того, чтобы поесть, выпить и дойти до туалета. Бриться, мыться, чистить зубы – энергии уже не было. Когда кончались еда и водка, раз в несколько дней брал пару червонцев из гонорарной пачки и плелся через дорогу в магазин, дрожа от слабости, оплывший и заросший. Я мечтал, чтобы вдруг приехал кто-нибудь бодрый и сильный, поднял меня за уши, выполоскал в горячей ванне с мылом, выбрил, переодел в чистое и отнес лежать на берег теплого моря. Там через месяц я бы оклемался. Но уши мои так и остались невостребованными.

Кончилась зима, прошла весна, и в нежном трепете июньской листвы я ощутил прилив активной злобы к жизни и презрения к себе. Чувства эти были вызваны голодом. Голод объяснялся невозможностью выйти за жратвой. На мне не сходились штаны. Это были мои единственные штаны. Я попал в западню, как Винни-Пух в норе Кролика.

Я належал килограммов двадцать. Зеркало пугнуло распухшим бомжем. Портрет на фоне Пушкина, и птичка вылетает. Фоном служила ободранная ханыжная хавера, набитая окурками, стеклотарой и грязным тряпьем. Ситуация достигла исчерпывающего предела.

Винни-Пух торчал в норе, пока не похудел до диаметра выхода. Мне повезло больше.

Меня посетила знакомая. Знакомая – это неполная характеристика; неточная. Это был танк, который гуляет сам по себе. По приезде в Таллинн я был взят ею на абордаж с той жесткой стремительностью, которую требовал от своей Чудо, праздник, тайфун. Она распечатала окно, за час привела в чистоту и порядок мою скверную обитель и мерзкую плоть, плюхнула коньяку в сияющие стаканы, перелистнула еще пахнущую краской книжку из штабеля у стены, объявила меня свершившимся гением, расширив влюбленные глаза, и в качестве высшего признания произнесла голосом, в котором пело эхо горних высот:

– Знаешь, я вдруг подумала, что тебе сейчас столько же лет, сколько было Сереже Довлатову, когда он приехал сюда.

Выздоровление произошло сразу. Взрыватель щелкнул. Я взвился, как пружинная змея из банки.

– Почему Довлатов?! – вопил я, швыряя стаканы в унисон внутреннему голосу, который норовил заглушить меня грохочущим водопадом матюгов. – При чем здесь Довлатов!! Что знал ваш Довлатов?! Он родился на семь лет раньше, мог пройти еще в шестидесятые, было можно

и легко – что он делал? груши и баклуши бил? А мне того просвета не было! Он Довлатов, а я Веллер, он не проходил пятым пунктом как еврей, ему не был уже этим закрыт ход в ленинградские газеты, и никто ему в редакциях не говорил: знаете, в этом номере у нас уже есть Айсберг, Вайсберг и Эйнштейн, так что, сами понимаете, не можем, подождем более удобного случая; ему не давали добрых советов отказаться от фамилии под «приличным» псевдонимом! Мать у него из театральных кругов, тетка старый редактор Совписа. литературные связи и знакомства со всеми на свете, у классика Веры Пановой он литсекретарствовал, друзья сидят в журналах! а у меня всех связей – узлы на шнурках! И всюду я заходил чужаком с парадного входа, откуда и выходил, и нигде слова замолвить было некому. Он пил как лошадь и нарывался на истории – я тихо сидел дома и занимался своим. Он портил перо херней в газетах, а я писал только свое. Он всю жизнь заботился о зарплате и получал ее – я жил на летние заработки, на пятьдесят копеек в день. Он хотел быть писателем – а я хотел питать лучшую короткую прозу на русском языке. Что и делал! торжествующе завопил внутренний голос. И он приехал сюда на чистое место – сохранив питерскую прописку и жилье, взятый в штат республиканской газеты, сразу приняли две книги в издательстве, – а я отчалил с концами, влип в его след, годами доказывал, что я не верблюд, – и он провалил все, а я в конце концов издал эту книгу! Которая в принципе – теперь уже можно не бояться сглазить! – выйти не могла! Читай: «Свободу не подарят!» «А вот те шиш!» Не могла! И вышла!

Павлина ранили стрелой. Дополнительным оскорблением воспринимался тот тонкий штрих, что Довлатову она досталась на пять лет моложе: и здесь я был как бы опережен и унижен. Жизнь – борьба, а не магазин уцененных товаров! Мне подсунули биографию б/у.

То есть наши заочные отношения с Довлатовым превратились уже в некий поединок судеб и заслуг; и к моему совершенному бешенству публика из таллиннской русской творческой интеллигенции (такой русской, хучь в рабины отдавай: Скульская, Аграновская, Штейн, Тух, Рогинский, Малкиэль, Ольман и еще пара-тройка столь же отпетых славян; правы, правы были в ЦК – ишь свилось тут сионистское гнездо из недодавленных в Киевах и Ташкентах) – публика отдавала предпочтение в этом поединке ему. А вот он был им ближе: родственнее; понятнее. А вот он более импонировал, стало быть, их представлениям о настоящем писателе и литературе. Он пил, загуливал, язвил окружающим и был своим. Будь проще, и люди к тебе потянутся. Я не пил, был вежлив, замкнут, а окружающих мало замечал. И никому не давал читать своих рукописей. Их мнение меня не интересовало: без надобности. Меня интересовало мнение истории. И то лишь в той мере, в какой оно совпадет с моим собственным.

По мере лет, как принято, добрея и глупея, я поддался успокоениям внутреннего голоса, что победил все-таки я, просто читатель у нас, возможно, разный. И еще одно: он был в ореоле запрета. В венце побежденного Роком и Режимом. В нимбе гонимого. За победителя боги, побежденный любезен Катону. Я бы этому Катону прищемил дверью. И еще одно. Его тут не было. Была легенда о нем. А кто ж живой может соревноваться с легендой. И еще одно. Ах, ты много о себе мнишь? Так не мни много: вот Довлатов, он-то, понимаешь…

– Сергуня Довлатов, он-то, понимаешь, никаким диссидентом, никаким антисоветчиком не был, – объяснял наш опять же общий приятель Ося Малкиэль, еще не съехавший на социал в Германию, еще макетчик и замответсекра «Мо-лодежки», еще терроризировавший коллег любовной готовностью при малейшем несогласии провести хук правой в печень и прямой левой в челюсть. Ося знал все и затыкал всех, этих всех этому всему уча. Он не принадлежал к породе слушателей, зачисляя в нее всех видимых в зоне досягаемости, по причине несогласия с чем на дружеской пьянке довлатовская гражданская жена по Таллинну и мать довлатовской дочери Тамара Зибунова на правах хозяйки и именинницы после тысяча первого предупреждения треснула таки Осю бутылкой по голове, ибо во всех прочих способах прикрутить фонтан его красноречия уже отчаялись. Я был не в курсе. Ося пришел ко мне поболтать за чаем, небрежно пояснив повязку ранением в афганской поездке. Он был романтик.

– Вот у тебя, Мишка, выходят книжки, тебя приняли в Союз писателей, где-то там печатают, переводят… го есть ты добился статуса нормального советского писателя.

– Какой у нас статус, змеиное молоко, мы сами-то еле живы. И где мне этим статусом статусировать…

– Не скажи Это все-таки. Официальная печать. Издаваться легче. То-се. Вот Сергуня хотел того же самого: просто писать, печататься, жить на литературные заработки, быть писателем. Но тебе, понимаешь, повезло, а ему вот нет.

– Мне – повезло? – взрыднул я. – Это кто ж такое оно, которое меня везло?

– Какая разница… И вот теперь он в Штатах, все его книги опубликованы, издает газету «Новый американец», известный американский русский писатель. Но там это… В общем, пишет, никому он там не нужен. Жалко его.

Я сидел не в Штатах, а в Эстонии, и тоже был никому на хрен не нужен, как, впрочем, и сейчас. Зеленовато-желтый и непривычно-миролюбивый, тихий Ося осторожно потрогал повязку. Бывают моменты, когда достает слеза: что бы ни делал человек в России, а все равно его жалко. И мои родственные отношения с Довлатовым приобрели вдруг сочувственный характер. Никому мы не нужны по обе стороны океана, и нет для нас другого глобуса.

Хотя Штаты были как раз другой планетой. Туда брали билет в один конец, прощались навсегда, и улетали, чтоб уже никогда не возвратиться на родную землю, как космонавты на Андромеду.

Это антиподство сыграло с нашими эмигрантами известную шутку. Кухонный вольнодумец – призвание экстерриториальное. Штаты были анти-СССР. Все, что здесь глупо и плохо, там было разумно и хорошо. Уезжантов допекли До невроза: здесь было плохо все – следовательно, там все было более-менее хорошо. Приписывая большевикам эксклюзивное право на все гадства мира, диссиденты тем самым возвеличивали их до бесконечной степени негативной гениальности. Обнаружив имманентность глупости и порока на другой планете, диссиденты впадали в свое естественное состояние – депрессию на кухне. Поистине, стоило влезать в торговлю камнями, ходить с вальтером-ПП подмышкой, трястись с контрабандными изумрудами через таможни, лететь в Штаты, чтобы в Денвере у газетного киоска напороться на одноклассника Юру Дымова, рассматривающего мою рожу над рассказом в журнале «Алеф», приходить в себя за бутылкой от сюрреализма ситуации, и ночью на его кухне выслушивать эти открытия.

– Вольному воля, – заключил Юра, разведя руками и кренясь с табуретки, как перегруженный альбатрос.

Воля моя пресловутая и мое открытие Америки настали гораздо раньше: когда я, в эйфории наглой безнаказанности, заказал с редакционного телефона Нью-Йорк, и через пятнадцать минут меня спокойно соединили с другой планетой: намертво невыездной, еврей беспартийный разведенный образование высшее безработный всю жизнь, я испытал нереальное, неземное чувство, уже забытое бывш. сов. людьми: чувство первого шага за границей… О… Хрен ли ваши цветущие яблони на Марсе. Кэптэн Блад ошень любиль как это? яблонь в цвету. Это ошень романтишно… ха-ха!

– Слушаю, – ответил мрачный и сиповатый русский голос без всяких признаков американской гнусавости и картофельного пюре во рту.

– Сергей Донатович? – осведомился я.

– Совершенно верно.

– Эстония беспокоит. Таллинн.

– Хо-о! – сказал Довлатов.

– Такой русский журнал «Радуга».

– М-угу.

– Мы тут хотим напечатать ваши рассказы. В общем просто обязаны. Как-никак Таллинну вы человек не вовсе чужой.

– Уж как же!..

– Так если вы не против…

Ответ был в том духе, что не против. Кто б мог подумать.

– Чувствую, что у вас перестройка.

Я назвался. Он ответил, что слышал и читал. Это было приятно. Хотя неясно, чего он мог слышать и откуда читать. Я подрос в своих глазах. Все-таки он жил в Америке.

– Откуда у вас мой телефон? Хотя – у нас наверняка должны быть в Таллинне общие знакомые.

В Таллинне все знакомые – общие. На протяжении ста рублей (восемьдесят седьмого года) я рассказывал, как они (список см. выше) живут. Злорадно глядя на часы. Фирма заплатит. Наш главный с международного телефона не слезал, бешеные тыщи без звука списывались издательством как издержки международной поддержки Народному фронту в борьбе за независимость.

– Да, но возникает вопрос, как я перешлю вам тексты. У вас есть мои книги?

– Сергей Донатович…

– Просто Сергей.

Ну слава те Господи. Я с самим маршалом Фрагга разговаривал, не тебе чета, и тот с третьего раза велел: без званий и на ты, курсант. Я имел дело с интеллигентным человеком. Вопрос обращения по отчеству заслуживает отдельного социопсихолингвистического изучения. Русско-советское хамство начиналось с комсомольского свойского «ты» и сквозь все слои и структуры общества восходило к публичному «тыканью» Генсека членам Политбюро. Но снизу вверх полагалось на «вы» и по отчеству. Это было самоутверждение холопов во князьях. У лакея свое представление о величии. В офицерском корпусе разграничивалось просто: на звездочку старше – «вы», на звездочку младше – «ты». В российском, даже купринском «Поединка» захолустном армейском полку – представьте «тыканье» штабс-капитана поручику. Среди «интеллигенции» задействывалось различие в должности и возрасте. К редактору, скажем, книги или публикации автор даже постарше и помаститее его обращался взаимно по отчеству. Автор моложе и немаститый отчества в ответ не получал. А уж в неформальном общении десять лет разницы казались старшему полным основанием обращаться к младшему по имени, слыша в ответ свое имя-отчество. Это вошло в естество, иное представлялось даже и странным, как бы искусственным, наигранным: обращаться по отчеству к младшему, пусть даже немного младшему, пусть даже под пятьдесят, если только он не был значительной, влиятельной фигурой. Это способствовало самоуважению старших. И не могло зачастую не унижать младших. Поразительно, что в «интеллигентах»-шестидесятниках почти поголовно отсутствует само ощущение того, что неравенством обращения он унижает собеседника, тем самым унижая некоторым плебейством манер себя. Хомо советикус.

– Ваши рукописи есть у Тамары Зибуновой. Если такую помните, – добавил я, тут же ощутив глупость своего комментария: не то укор мужскому равнодушию, не то комплимент донжуанству старого рубаки.

В трубке помолчали в веселой тональности.

– Как же, – согласился он. – Ну, тогда хорошо.

– Мы можем отобрать по своему усмотрению, или у вас есть пожелания?

– Пожалуйста – можете выбрать сами.

– Встает вопрос об оплате. С долларами здесь напряженка.

– Кажется, я еще помню.

– Но гонорар в рублях – гроши, конечно, полтораста за лист, – это дело святое.

– А вы это можете заплатить Тамаре?

– Без проблем.

– Нужно какое-то письмо от меня, доверенность?

– Ничего. Так сделаем. Никаких сложностей.

– Прекрасно.

– Когда мы отберем – я вам позвоню. Через недельку.

– Буду очень рад. И вообще звоните. Да… немало воспоминаний с Таллинном связано.

Мы расшаркались с нежными нотами в голосе.

Здесь полагается расписать, что идея печатать Довлатова принадлежала всецело мне одному: восстановление справедливости, отдать долг прошлому, братское сочувствие, возвращение большого писателя; тому подобное. У успеха много отцов. Нет: идея была не моя, ее родили редакционные дамы, а я так, сбоку сидел. Гордо заведовал отделом русской литературы, состоящим из меня одного. В этом есть свои преимущества: когда хоть где-то русская литература состоит из тебя одного. Хотя, если знакомые, большого ума благородные доны, желая отрекомендовать меня лестным образом, представляли как «лучшего русского писателя Эстонии», мне оставалось только раздраженно пояснять, что, конечно, в любой луже есть гад, между иными гадами ирройский.

Вообще журнальчик «Радуга» мог издавать один человек, по первым понедельникам месяца, перед обедом, под холодную закуску. Но редакционные дамы, как свойственно всем дамам, ставшим редакционными, пили кофе и строили интриги в убеждении, что коллектив работает напряженно, а штат явно неполон. Занять каждого своим делом, чтоб ему было некогда соваться в чужие, удалось только Фигаро, и то ненадолго.

Жизнь «Радуги» – отдельный роман. Впрочем, все есть роман – при наличии у автора ассоциативного мышления. Условием чего служит вообще наличие у автора мышления. Достопамятные дискуссии о смерти романа ошарашивали безмозглостью. Ежли роман – зеркало, с которым идешь по большой дороге, – то ли дороги укоротились, то ли ножки у дискуссантов ослабли, то ли слабая ленинская теория зеркального отражения трещину дала.

То мог быть роман о ячейке Народного фронта, который привел Эстонию к независимости, а своих зачинщиков, творческую интеллигенцию, к помойке. Что роман – эпическая трилогия! И жизнь каждого сотрудника – тоже роман, философский, энциклопедический, сентиментальный и местами матерный. Психологический триллер о том, как схарчили замглавного редактора. Сага о художнике, заболевшем аллергией на все виды красок, лечившемся год, не вняв знаку Господню, и упрямо продолжившем свою богопротивную деятельность. Или как собрали десяток идиотов, страдающих профессиональной непригодностью во всех областях занятий, и поэтому часто их меняющих, что должно было компенсироваться недержанием речи и синдромом реформаторства на фоне вялотекущей шизофрении, и объединили их в демократический дискуссионный клуб прогрессивной русской интеллигенции. Клуб дискутировал по четвергам, и головная боль у меня проходила к вечеру субботы.

Но по легенде, которая всегда совершеннее действительности, Довлатов уже написал подобный роман. О том, как он работал в ленинградском «Костре». По этой легенде роман назывался «Мой „Костер"». Раз в неделю, в ночь на субботу, его поглавно читали по «Свободе». Главы назывались: «Корректор»; «Завпоэзией»; «Ответственный секретарь». Произведение было лаконичным и сильным. Довлатов отличался наблюдательностью и юмористическим складом ума, поэтому каждый понедельник прославленного в свой черед сотрудника редакции вызывали на Литейный и после непродолжительной беседы увольняли с треском. Редакция бросила работать. Всю неделю с дрожью ждали очередной передачи, а в субботу, нервно куря и закусывая водку валидолом, крутили приемники, чтобы узнать, кто из них приговорен к казни на этот понедельник. Русская рулетка. Ряды редели. Смертельный удар был нанесен главой «Жратва». Редакция помещалась недалече от Смольного, и в качестве органа Обкома комсомола обедала в смольнинской столовой. Не в том зале, конечно, где боссы, и не в том, где инструкторы, и не в том, где машинистки, а вместе с шоферами и наружной охраной,

но все равно – кормушка святая святых, экологически чистые деликатесы по дешевке, закрыто для простого народа. Довлатов описал столовую.

В следующий понедельник редакцию навсегда открепили от столовой Смольного. Ненависть к Довлатову, запивающему сейчас бигмаки кока-колой, достигла смертельной степени и приобрела священный классовый характер. Можно простить увольнение отца, но не потерю спецраспределителя.

Однако по прошествии лет, утечении вод и перемене масок и декораций явствует из довлатовской деятельности в «Костре» совсем другая история, закулисная, непреложно реальная и неизбежно умолчанная. Достаточно перечесть главу «Костер» из книги «Ремесло». Пригласил его Воскобойников. Позднее выяснилось, что мягкохарактерный Воскобойников работал на ГБ. Довлатов прав в догадках: в журнал обкома комсомола никаким каком не могли взять человека с нечистой анкетой, беспартийного, без круто волосатой лапы, обратившего на себя внимание конторы в связи с политическим процессом, автора сочтенных неблагонадежными рукописей, уволенного по указанию ГБ из газеты, книгу приказали рассыпать, сам под колпаком. Лишь тот, кто ничего не знает о структуре и системе информации и надзора за печатью и функциях отдела кадров, может думать иначе; для прочих совграждан это однозначно, как штемпель в паспорте. Замазанного человека возьмут только с каким-то умыслом. Теоретически первое – сотрудничество, на которое дается номинальное согласие. Зачем осторожнейшему лояльнейшему Воскобойникову такой подчиненный? После скандала в Таллинне? А вот пред патроном надо изображать деятельность: привлечение новых лиц, расширение сферы работы. Патрон требует; от патрона только такая инициатива и могла исходить. Второе, что вероятнее: Довлатов мог быть полезен как источник информации и связей в среде ленинградской «диссидентствующей» творческой интеллигенции. Нехай будет под присмотром, поближе к глазу Большого Брата. Об этом его и извещать не надо. В любом случае объективно оказался совершен неплохой и даже добрый поступок, в чем вполне можно с Довлатовым согласиться.

С ним вообще трудно не соглашаться, таков был характер его дарования. Он не написал, в некотором смысле, ничего спорного. Все просто и внятно. А если ты с чем-то все-таки не соглашался, легко соглашался он. По жизни он был миролюбивый человек. Я тоже.

И когда я стал редактировать его рассказы, несогласие вызвали только два места… Тут паленая-драная память срывается с веревки: редактирование – это поэма особая, о тридцати трех песнях, девяносто девяти сценах. Моя любимая сцена в советском редактировании – это когда классик советской литературы и знатный алкоголик-миллионер – нет, не Шолохов, но Федор Панферов тоже ничего – был наряжен руководить Всесоюзным совещанием редакторов. Открытие имело произойти в десять утра в большом зале Дома литераторов. В десять редакторы празднично расселись. Они не были классиками, а многие из них не были алкоголиками, многие вообще съехались из провинций на халявное столичное удовольствие, чего ж им в десять не рассесться. Но Панферов, повторяю, как хорошо было известно всем его знавшим, в десять утра если и садился, так только с целью принять стопарь на опохмел, жалобно выматериться и лечь обратно. Итак, ждут. Ждут… И в самом деле, к одиннадцати появляется Панферов. Недоопохмелившийся и недополежавший. Злой, как цепная сука. Транспортируют его под руки из-за кулис, как адскую машину на взводе, и устанавливают на трибуне. Кладут перед микрофоном текст приветственного слова. Панферов икает, отпивает воды, текстом вытирает губы, потом потный лоб, потом сморкается в него и убирает в карман. С бычьей ненавистью смотрит в зал. И, наконец, тяжело произносит:

– Всех редакторов… я бы перевешал, как шелудивых собак! Но… поскольку это не в моих силах… пока… особенно сейчас… ох… Всесоюзное совещание редакторов объявляю открытым! вашу мать…

Когда первый автор после моего редактирования заплакал, я с этим делом завязал. Исправлял лишь редкие явные огрехи – с согласия. Над самим всю жизнь измывались – фиг

ли теперь самому других мучить. Ссылки на учебник русского языка меня бесят. А откуда, интересно, взялись в академической грамматике все ее правила? Очень просто: кто-то взял и вставил. На основе уже существовавших ранее текстов. Спасибо за усреднение и нивелировку. Зачем я должен доказывать скудоумным, что синтаксис есть графическое обозначение интонации, коя есть акустическое обозначение семантических оттенков фразы, а нюансы-то смысла и возможно на письме передать лишь индивидуальной, каждый раз со своей собственной задачей, пунктуацией? Ученого учить – только портить. Я понимаю, что редактору сладка властная причастность к процессу творчества, он рьяно отстаивает в этом смысл и оправдание своей жизни. Так пусть не самоутверждается за счет моего текста. По законам, понимаешь, современной аэродинамики шмель летать не может. Не должен, падла, летать! А он летает… сука насекомая неграмотная. Так не умеешь летать сам – не мешай шмелю. Не учи отца делать детей. Я себе заказал типографский штамп, и теперь шлепаю его на все рукописи: «Публикация при любом изменении текста запрещена!». Хотя лучше шлепать в лоб. Что по лбу.

Поэтому Довлатова я «редактировал» мягко. Я позвонил, обсудил разницу в климатических и временных поясах, потребительскую ситуацию и политические прогнозы, и перешел:

– Тут у вас написано: «шестидесятизарядный АКМ».

– Гм, – выжидательно произнес Довлатов.

– У Калашникова магазин на тридцать патронов. Шестидесятизарядных магазинов к автомату нет. Это в Афгане стали связывать изолентой два рожка валетом, для скорости перезаряжания. Но это нештатная модернизация, в армии запрещено. Возможно, дело просто в том, что наряд получает по два рожка с боевыми патронами, всего шестьдесят штук: один рожок примкнут, второй в подсумке. Но автомат все-таки тридцатизарядный.

– Гм. Возможно. Знаете, это так давно все было… я мог уже и забыть. Пусть будет тридцатизарядный. Хорошо.

Я чувствовал свою бестактность. Все-таки в охранных войсках служил он, а не я. От неловкости был многословным: падла-редактор как бы оправдывался.

– Дальше, – спросил Довлатов без излишней приветливости.

– Второе и последнее, – поспешил заверить я, и готов – но добавил: – Здесь я не буду настаивать. Понимаете, ненормативная лексика – вещь такая, спорная… Но мне кажется, что слово «гондон» правильнее писать через «о», а не через «а». Как бы образование разговорного просторечия по аналогии литературному «кондом», который через «о». Это, конечно, дело слуха, в препозиции стоит редуцированный, но в принципе формальное расподобление при сохранении внутренней семантики идет именно по такому пути…

Я наворачивал все, что помнил из филологической терминологии. Я старался выглядеть сильно ученым и не сильно заразой.

– Возможно вы правы, – с веселым добродушием прогудел Довлатов, и я представил, как в Нью-Йорке ранним утром он задумывается над нюансировкой правописания русских ругательств.

– Это все, – поздравил я его со своим либерализмом. – Больше у меня никаких вопросов нет, текст идет в полной неприкосновенности.

– Прекрасно. Когда выйдет?

– В первом номере за восемьдесят восьмой год. Несколько экземпляров я вам пришлю.

– Да, спасибо, я хотел попросить, интересно все-таки. Где тут достанешь, ваш журнал как-то не доходит пока до нас.

И рассказы благополучно вышли, и еще на телефонный стольник я поздравил его с первой, легка беда начало, публикацией на бывшей родине, и отправил пяток экземпляров, приложив к ним из тщеславия, узаконенного профессиональной этикой, собственную книжку, снабдив ее надписью, составленной из всяких хороших слов, насчет читателя-почитателя и младшего последователя по эстонскому маршруту.

Дарение авторами своих книг сродни гордости курицы, за собственнозадно снесенное яйцо. Не бог весть какое достижение, зато лично мое, сказал полковник. Обычно тебе дарят, а ты думаешь, на кой черт, все равно читать незачем: сам бы никогда не купил. А не дарят – легкое унижение: обошли знаком почтения, вроде и не по чину на тебя, дурака, добро тратить. Когда мне говорят за мою книжку «спасибо», мне чудится фальшь ситуации: тоже, восьмитомник Шекспира с золотым обрезом. Я зря похаял редакторов: один меня поучил. Издательство у нас большое, сказал он, а квартира у меня маленькая, и я раз в год чищу библиотеку: выношу всякий дареный мусор на помойку. После этого я выкинул почти все дарственные книги, а последующие перестал носить в дом, выкидывая непосредственно по расставании с дарителем. Особенно мне памятно выкидывание в Бильбао: я подарил переводчику свою книжку, маленькую, легкую и хорошую, на понятном ему русском, а он мне – двухтомник своих переводов: огромный, тяжелый, из авторов, которых я и по-русски читать не стал, и на испанском. Час по сорокаградусному солнцепеку я таскал и проклинал эти два кирпича: их было некуда выкинуть. В Бильбао нет урн – баскские террористы любили подкладывать в них мины: на злоумышленника, пытающегося где-то оставить какой-то предмет, смотрят бдительно и враждебно. Я специально зашел в кафе, взял холодного вина, сосредоточенно листал, попивая, и еле смылся.

Присланную в ответ Довлатовым его книжку «Не только Бродский» я, в числе немногих раритетов, выкидывать не стал. Он переслал ее с оказией в пакете мелких благодарственных презентов редакции. Позднее выяснилось, это была не единственная форма реакции. Тогда я впервые и увидел швейцарский офицерский нож, который тут же принес пользу в открывании бутылок и нарезании колбасы.

Характер у меня легкий, зато рука тяжелая. В смысле наоборот. Как это по-русски?.. Сам себя не похвалишь – ходишь как оплеванный. Потому что Довлатова стали потом печатать в Союзе все наперебой. Конечно, после этого не означает вследствие этого, с юстинианом правом мы тоже знакомились не по Гегелю, но кто-то должен был прокукарекать первым: рассветало с запада, вот уж кретинская метафора. После чего заквохтали наперебой. «Иностранка» и «Звезда», «Октябрь» и «Литературка»; его классифицировали как блестящего писателя, одного из лучших писателей, лучшим писателем русского зарубежья в конце концов назвали. Одновременно лучшими были объявлены: Горенштейн, Войнович, Максимов, Севела, Тополь с Незнамским и Незнамский без Тополя, Аксенов, Лимонов, Владимов и примкнувший к ним Зиновьев… память слабеет, но кучка была могуча. Стране открывали ее героев, и каждый был самый.

Привычка грамотного человека к чтению часто есть форма мазохизма. Критика меня влечет. Одна из целей критики – заставить читателя усомниться в своих умственных способностях. Я усомнился и стал читать Довлатова и пришел к выводу, что такую прозу можно писать погонными километрами. Мне есть очень мало дела до всего вашего семейства, сказал Коменж. У всяк своя компания, чего читать, тут и свои друзья осточертели. Я уже читал в детстве такую книжку, она называлась «Где я был и что я видел». Где ты был, ничего ты не увидел, хрен с тобой. Дали боги дожить, и стало спартанцам не до чужих бед, своих хватит.

В числе многого, чего я лишен, мне не дано постичь прелесть и смысл салонной жизни. Убожество «внутрилитературной тематики» во вторичности предлагаемого к потреблению продукта: если литература – производная от жизни, то разговоры о ней – производная от литературы. Пресловутое «литературное общение» есть поза подмены деятельности суетой: казаться вместо быть; форма паразитирования при искусстве; род субкультуры для причастных к клану. Хотя также – способ устройства своих дел: маркетинг и реклама – тоже нужны… но надобно ж и разграничивать. Представьте Дон-Жуана проводящим ночи в попойках с друзьями за философскими обсуждениями женских подробностей и особенностей и подчеркиванием роли своей личности в мировой сексуальной революции, а по бабам ходящего в редкие просветы свободного времени и протрезвления. Вот и у пчелок с бабочками то же самое.

Хочешь писать – сиди пиши. Хочешь печататься – расшибайся в лепешку печатайся. А вот если кто хочет именно быть писателем – то есть выступать перед читателями, не ходить на службу, жить на гонорары, захаживать в редакции на чай и коньяк, ездить по миру, вести беседы в домах творчества, прокуренные ночи рассуждать с коллегами о проблемах литературы, небрежно доставать из кармана писательский билет – провались он пропадом со своей обгорелой тетрадкой и сушёной розой. Ущемленное самолюбие и знак причастности к литературному процессу. Пар в свисток – сублимация: почему же почему так обрезали ему.

Примерно такой оценкой творчества Довлатова, понижая голос, с опасливым недоумением, в светских выражениях, я поделился с его старинным другом Лурье. Лурье большой скептик. Особенно по части литературных репутаций. Он пессимист. Когда штат «Невы» сократят до одного человека, а помещение – до одного чулана, там будет сидеть Лурье, иронично блестеть лысиной и очками, с язвительным обаянием врать по телефону, издеваться над завалившими стол и стены рукописями и жаловаться на жизнь.

– Господи, да конечно все это полная …, – радостно сказал Лурье. – Ну, сделали имя, играют в эти игры, сами, понимаете, в это нисколько, конечно, не верят, а если кто и верит – так это уже просто полные … . Мы-то с вами прекрасно понимаем, что никакая это не литература, разная, понимаете, … о своей жизни, так кто из нас не может бесконечно писать таких историй.

Опять же есть у кого остановиться в Нью-Йорке, выступить по «Свободе», получить за это какие-то доллары, – так надо ж быть свиньей, чтобы не отблагодарить человека. Заодно и оправдание командировки.

Но жизнь менялась стремительно, и литература менялась вместе с ней. Представления о литературе профессиональных критиков, как и полагается, менялись последними или не менялись вообще. И когда умный и образованный Вик. Ерофеев публично констатировал конец советской литературы – это было подхвачено, но не понято.

С литературы спали функции философии, социологии, журналистики, глашатайства, и чего угодно – как с самолета сбрасываются подвесные баки, и в измененной аэродинамике он теряет стабилизацию полета. Оказывается, подвесной бак составлял его большую и главную часть. Произошла литературная паника. Гвардейская королевская рота обнаружила себя голой. Она запела со святыми упокой литературе, на что хотелось утешить: умерла – закопаем.

Книг стало больше, а читать нечего. Фо хум хау. В круговороте крушения Империи русская литература тоже вступила в рыночную схватку между формой и содержанием, и этот базарный мордобой содержание выиграло безоговорочно. Это победа материала над отношением к нему автора. Руки над перчаткой. Победа безусловных фактов над условностью их изложения.

А ведь вся художественность формы – именно и есть авторское отношение. Хитромудрая композиция, пейзажные красоты и аллегории, извивы духовных бездн, стилистическая изысканность и философические размышления – понадобились читателю во вторую очередь, а большинству и вовсе не понадобились, ибо даже соловей, по справедливому замечанию классика, поет оттого, что жрать хочет. Ему возразили, что соловей хочет размножаться, на что был бездушный ответ, что не пожрешь – не размножишься. Когда читателю нечего жрать, он бросает размножаться, что мы и наблюдаем: это безусловные факты.

Рафинэ не в кайф сечь, что сочинительство, беллетристика, фикшн – еще не исчерпывает литературы и даже не является главным, основополагающим и исконным в ней. Основа прозы – факт. Основа поэзии – чувство. Великие события и великие чувства лежат в основе литературы. «Илиада» – это отчет художника об экспедиционной кампании героев. «Улисс» – это отчет художника об одном дне из жизни микроба. Джойс объемнее и эстетически богаче Гомера. Всем изощренным арсеналом наработанных средств литература въелась в маленького человека: он тоже – глубок! интересен! велик! герой! Да: но тоже. Двести лет назад обращение к маленькому человеку и обыденному событию было открытием, поворотом, актом справед-

ливости. Подзорную трубу повернули другим концом: какое богатство мелкой флоры и фауны! вот на каком уровне, оказывается, заложено бытие! И Акакий Акакиевич заслонил Вещего Олега, а чаепитие заглушило грохот сражений. Наступил новый этап.

На этом этапе литературе рекомендовали обыденность: персонажей и событий, чувств и языка. А в чем искусство? А в сознании тонкой системы многозначных условностей, в том вкусе и красоте изложения, которые базируются на овладении традицией.

Началось внутрисебясамойпереваривание: в замкнутом ограничениями пространстве предметом литературы стало развитие литературных средств. Что естественно привело к внутрисебясамойпотреблению. Ах, как это написано: новое слово. Об чем слово-то, граждане? Белого Дракона все одно не переплюнешь.

Верните мяч в игру, вздохнул старый авантюрист. Вы можете конгениально и сверхискусно изображать теннис без мяча сколько угодно, но на Кубке Дэвиса вас не поймут. Это ваши личные игры в бисер.

Героев, стр-расти, простоту и сенсационный материал оставили масскультуре: ваш телескоп примитивен, у нас свой микроскоп.

То есть, как существует наука чистая и прикладная, образовались литература чистая и литература прикладная: одна для профессионалов, другая для всех потребителей.

А про чего всегда влекло человека узнавать? Великие герои и отъявленные злодеи, грандиозные катастрофы и необычайные приключения, любовь и преступление, тайны государства и тайны мироздания. Это стало достоянием массовой литературы. Но коммерческий успех книги об этом еще не свидетельство ее художественной неполноценности. В вину ей ставят: а) она привлекает своим материалом, а не художественностью; б) она вообще нехудожественна, т. е. арсенал средств изложения не оригинален и беден. Ты не из нашей корзинки, дешевка.

Говоря об истории литературы, наука признает шванк, фацетию, анекдот, хронику, сагу. Говоря о современной литературе, наука обязательным ее условием ставит выдуманность и соблюдение условных критериев «искусства». Не поступимся принципами. Тем хуже для «науки». Если можно таковой счесть критику. Об этой критике кратко и исчерпывающе сказал Денис Горелов. Жму ему руку через разделяющую нас госграницу.

Критик должен быть готов и способен в любой момент и по первому требованию занять место критикуемого им и выполнять его дело продуктивно и компетентно; в противном случае критика превращается в наглую самодовлеющую силу и становится тормозом на пути культурного прогресса. Если вам нравится сентенция, получите и автора: доктор Йозеф Геббельс.

Где Трифонов? Где Рыбаков? Где Гроссман? Где Айтматов? Какие люди были, блин, какое время было, что ты. Дети, крепитесь, с вашим дядей Авелем произошло несчастье.

А бестселлерами с лотков идут справочники по оружию, флоту, авиации, танкам, что делать в постели и как нажить деньги, биографии великих, история по Гумилеву, война по Суворову и золото партии по Буничу. Ближе к жизни, ребята! По этой причине «Новый мир» печатал «Одлян» и «Желтых королей»: чего там в жизни делается? да скажите вы просто и внятно; а без вашего эстетического отношения к словесности мы обойдемся. Гений успеха Радзинский: книга об убиении царской семьи. Муза успеха Васильева: книга о «кремлевских женах».

Солженицын написал великую книгу – «Архипелаг „ГУЛАГ"». Все прочее им написанное не стоит выеденного яйца и стало никому не нужно и не интересно раньше, чем кончило печататься. Шаламов был лучшим писателем, чем автор «Одного дня Ивана Денисовича». Из того, что «Архипелаг» не соответствует канону художественной литературы, явствует условность и ограниченность канона. Читателю, искусству и истории плевать на каноны. Они меняются.

И сейчас канон меняется на наших глазах. Обычное дело. Часть «масслитературы» канонизируется в «элитлитературу». Нормально. Подпитка. Высоцкий. Жванецкий. Живая жизнь. Тоже было: «низкий жанр».

Да что: Пикуль остался, и Штирлиц остался, и уже второе поколение читает и цитирует «фантастов» (низкий жанр!) Стругацких – и хоть бы одна зараза ради разнообразия призналась, что выросла на Леониде Леонове.

А театры плачут по зрителю и ставят «Филумену Мартурано». Кто такая филумена? кому она что мартурано? Поставьте пьесу, трагедию поставьте, про Героя Советского Союза Руцкого в разносимом танковыми пушками парламенте России! про превращение затурканного интеллигента в главврача страны! про карьеру искусствоведа на панели! Нет: на изюм получите педерастическую версию классики: шарман, шарман! Не хочите? Тогда Пинштейн из Мексики или как его там будет кормить народ мыльной оперой «Просто богатая рабыня» или как ее там: он бездарен и умен, а вы талантливы и глупы. А у народа потребности.

Когда мужик не Блюхера и не милорда глупого, а весь союз писателей по кочкам понесет? Фантастика – не литература, дамский роман – не литература, уж Теккерей забыт, а Шерлок Холмс им все детектив, а не литература. Им бы, умным, что-нибудь такое около эколо. Как в ересь, в неслыханную простоту, которая грешнее воровства. И вот с незамысловатым юмором автобиография конечно читается интересней все-таки Нарбиковой или Харитонова с их онанистическими потугами на мудрую эдакость ни об чем и об всем на свете. Ну что ты, говорит, Левушка, конечно Довлатов лучше. Тут он трах ее дубиной по лбу! И с тех пор во всем полагался на ее литературное мнение.

И я положился на литературное мнение Довлатова, с которым меня эстетически, так сказать, примирил Вик. Ерофеев. В глазах коллег у Вика Ерофеева должны быть два гадских порока: он много знает и много понимает. А кто ж, батюшка мой, любит того, кто его умней. А поскольку знаменитость под пером собеседника предстает умной в меру разумения этого самого собеседника, то в «Огоньке» в беседе с Виком Ерофеевым в рубрике «Поверх барьеров» Довлатов предстал умным, а также честным и невеселым.

– Я свое место знаю, – сказал усталый и битый Довлатов. – Я – эмигрантский русский писатель в Америке; не из первых; но и не из последних. Где-то посередине. Есть высший класс в литературе – это сочинительство: создание новых, собственных миров и героев. И есть еще класс как бы попроще, пониже сортом – описательство, рассказывание – того, что было в жизни. Вот писателем в первом смысле я никогда не был – я бы назвал себя рассказывателем.

Это было сказано с достоинством и скромно. Слава уже пришла.

Я ожидал услышать (прочесть) иной ответ. И впервые ощутил к нему нотку печальной любви. Я был тогда стопроцентно согласен с такой самооценкой. А сейчас согласен чуть больше – в сторону увеличения. Мне это понравилось до чрезвычайности.

Я хранил эту любовь года два. Особенно она увеличилась, когда Довлатов уже ушел… Пока однажды зимой не позвонил из Ленинграда приятель с радостной новостью:

– Здорово. Как живешь?

– Ага. Сегодня я тоже подстригал мои розы.

– Тут, значит, выходит у нас такая многотиражка, «Петербургский литератор».

– Слыхал. Так что?

– Вот тут у меня последний номер… Не видел?

– Откуда.

– Весь посвящен Довлатову. Разные там его письма, воспоминания о нем и прочая муть.

– Ну.

– Про тебя тут тоже есть.

– Забавно. Польщен. В связи с чем, собственно?

– Хочешь послушать? Сейчас… Вот:

«Что делается с сов. литературой? У нас тут прогремел некий М. Веллер из Таллинна, бывший ленинградец. Я купил его книгу, начал читать и на первых трех страницах обнаружил: „Он пах духами" (вместо „пахнул"), „продляет" (вместо „продлевает"), „Трубка, коя в лавке стоит 30 рублей, и так далее" (вместо „коия", а еще лучше – „которая"), „снизошел со своего Олимпа" (вместо „снизошел до"). Что это значит? Куда ты смотришь?..

= Ваш С. Довлатов».

– Что скажешь? – спросил приятель.

– Экая скотина был покойник, – сказал я.

– Письма к Арьеву.

– Лучше бы он купил себе словарь.

– А зачем? Так интереснее. Да послушай соседний абзац: «Посылаю тебе две копии – во-первых, из хвастовства, а во-вторых (я как-то отвлекся и ушел в сторону) – как материал для твоей обо мне заметки, коя меня заранее радует…» Вот тебе твоя коя трубка и его коя заметка. Вы вообще знакомы были? Ты ему что, чем-то насолил?

К тому времени господин Мольер имел полную возможность убедиться, что слава выглядит совсем не так, как ее обычно себе представляют, а выражается преимущественно в безудержной ругани на всех углах.

– Насолил…– сказал я, скрывая огорчение.– Первым напечатал в «Радуге».

– А. Так тогда понятно, что ж ты хочешь. Ни одно доброе дело не бывает безнаказанным. Про «Радугу» тут тоже есть… в соседнем письме:

«У меня есть ощущение, и даже уверенность, что в СССР скоро начнут печатать эмигрантов… – так, – Я ждал 25 лет, готов ждать еще…– Вот: – Но если да, то возникают (уже возникли, например, в таллиннской „Радуге") проблемы». Что за проблемы-то?

– Правописание слова «гондон», – сказал я. – Интересно, там даты нет на письме?

– Про «Радугу» – 2-е декабря 88-го года.

– Ощущение и уверенность у него возникли после моего звонка, что мы его в первом номере печатаем.

– Информация – основа интуиции.

– А про трубку?

– Минутку… 13-е мая 89-го.

– Покупатель. Книгу он купил. Библиофил. Эту книгу я ему сам послал.

– Поздравляю, – сказал приятель. – На хрена?

– Да вместе с журналами, где были его рассказы.

– А вот меньше надо выпендриваться и раздаривать свои книги. Он ведь хотел получить напечатанными свои рассказы, а вовсе не твои.

Подобный неожиданный привет из другого измерения может на полчаса подорвать веру в людей, если у кого есть вера в людей. Я вытащил с полки «Не только Бродского»

и прочитал: «Михаилу Веллеру с уважением и благодарностью. С.Довлатов. 2/5/89. Нью-Йорк».

Летом в Ленинграде я позвонил Арьеву. Мы не были знакомы. Таким образом, нас познакомил Довлатов. Не могу сказать, с какой целью я звонил. Тем более этого понять не мог Арьев.

– Вы хотите напечатать опровержение? – спросил он. У меня все-таки хватило ума ответить:

– Упаси меня Боже дискутировать с умершим. Просто я вижу сомнительную ему услугу в публикации этого письма.

– Понимаете, у него иногда было довольно своеобразное чувство юмора, – объяснил Арьев мягко. – Здесь содержится такая некая ирония.

– Я попытаюсь понять, – пообещал я. Ирония – оно конешно.

Арьев оказался приятным и скромным человеком и наблюдательным критиком. Из одной его статьи я узнал, что в сочинениях Довлатова все слова во фразе обязательно начинаются с разных букв. И никогда еще ни один литературовед не делал замечания более верного. Можете проверить. Я не знаю, какой смысл в этой особенности, но за ней, видимо, таится большая скрытая работа, являя посвященному за внешней простотой свидетельство настоящего искусства. Правда, все фразы очень короткие.

Если обратиться к литературным аналогиям, это более всего напоминает искусство лейтенанта Шайскопфа из «Уловки-22». Огромной и скрытой работой он добился от кадет своей роты церемониального шага с руками, неподвижно прижатыми к бокам. И когда на параде изумленное невиданным зрелищем командование вопросительно воззрилось на Шайскопфа, он звенящим от торжества голосом известил:

– Смотрите, полковник! Они не машут руками! Продолжение этой истории одной лошади было вполне в духе довлатовских произведений. Годом спустя я обсуждал с художником оформление книжки «Легенды Невского проспекта».

– На заднюю сторонку обложки дадим выброски, – решил художник. Он любил и умел делать прекрасные гравюры на заглавие, в общем самоценные, а в остальном предпочитал идти по кратчайшей линии наименьшего сопротивления. И подкрепил позицию заботой о моей пользе: – Книга должна выглядеть рекламисте У тебя есть всякие там рецензии о тебе?

Он унес папку с вырезками и через неделю ознакомил меня с эскизом.

Верхняя из четырех беспощадных цитат гласила: «У нас тут прогремел М. Веллер из Таллинна, бывший ленинградец. – С. Довлатов. Нью-Йорк». Угадайте, чья фамилия была обведена скорбной рамочкой.

– Ну как? – довольно спросил он.

– Слушай,– сказал я,– там, вроде, было еще одно слово, в оригинале. Дай-ка поглядеть… вот: «некий М. Веллер».

– Не просто чекой, – сказал художник. – Я понимаю. Вышеупомянутой чекой. Отзынь. Мы не в армии, ты не сержант.

Художники требуют подхода. Я налил и рассказал историю.

Художник выслушал историю и пришел в негодование.

– Что значит – «некий»? Ху из ху! Какого хрена? Во-первых, он отлично знал, кто некий, а кто какий. Во-вторых, справедливость должна торжествовать. В-третьих, Довлатов тоже ленинградец, на ленинградской книге это очень уместно: я долго думал. В-четвертых, с паршивой овцы хоть шерсти клок. Отходы – в производство. В-пятых, он бы оценил, я думаю, изящество ситуации.

Он задумался и заржал. За пределами искусства все художники циники.

Я тоже задумался, но ржать не стал. Я люблю циников. Я сам циник. А циники сентиментальны.

Меня вдруг, что называется, пронзила печаль. Я представил ощущения Довлатова, писавшего это письмо. Чужой в Америке. Без языка. Эмигрантский круг. Признание на родине еще не пришло. А кто-то, моложе, приехал после него из того же Ленинграда в тот же Таллинн, и издал книги, печатается, принят в СП, удачливый ловкач, и звонит ему в Нью-Йорк, и публикует его в таллиннском журнале, и пьет с его бывшими друзьями, откуда взялся, стал там своим, и посылает свою книжку, вышедшую в издательстве, где двенадцать лет назад, в прошлой неудавшейся жизни, должны были издать его… – так мало того, еще и в Нью-Йорке, в его теперешних кругах, этот самый еще и чего-то прогремел… Все мы все понимаем, а все-таки горько бывает, господа…

О покойниках – правду или ничего. Если кто что-то значил в твоей жизни, ты продолжаешь относиться к нему как к живому, просто отсутствующему. Продолжаешь говорить о

нем как и раньше, и шутить, и разговаривать с ним, и спорить. Только он уже не скажет тебе ничего нового. Поэтому оставлять за собой последнее слово в споре с тем, кто уже не сможет возразить, нехорошо.

Черт. Я оставил за собой последнее слово. И ржать мне тут было нечего.

Но я зря так надеялся. Случай оказался не тот. У меня был когда-то рассказ, где покойник на похоронах последнее слово оставляет за собой.

И тут ведь последнее слово осталось за ним!

Говорю недавно по телефону с Генисом. Лотман-Букер, Таллинн-Нью-Йорк, ля-ля – шарк-шарк, общие знакомые: узкий круг и тонкий слой. Довлатов!

– Мы с Сережей были близкие друзья.

– Вот как.

– Он мне о вас говорил. Очень высоко отзывался.

– Гм? Не знал.

– Да, причем чтобы Довлатов, который очень редко, почти никогда не отзывался хорошо о прочитанных вещах, знаете…

– М-угу…

– А вы не читали, в газете «Литератор» опубликовано его письмо Дару? он вас там очень хвалит, просто очень,

– Дару? – опасливо переспросил я. – Нет… не знаю. Я знаю было опубликовано письмо Арьеву, где он обо мне упоминал.

– Нет, Дару. Вы знаете, есть такой – Дар?

– М-м, слышал, конечно.

– И вот там, в «Литераторе»…

– В каком «Литераторе»? Есть «Петербургский литератор» (если он еще выходит, они ведь в Питере погорели всем домом), был «Московский литератор»…

Мою реакцию на сообщение можно было назвать непритворной заинтересованностью.

– Ей-Богу точнее не помню, мне недавно привезли из России чемодан литературы, еще не все в картотеке рассортировано.

Слышимость с Нью-Йорком отличная, но вразумительности не прибавляла: я подозревал игру в испорченный телефон. Уточнил:

– Давно это было?

– Н-не помню точно…

– Года два назад?

– Не-ет. Месяца два-три.

Такие дела. Я тщился уяснить: новый поворот, мотор не ревет… еле лапками колышет: сдох. Свет погасшей звезды. Клевещешь, Перси, на него: клевещешь! Но представляю мнение Гениса о моем взыгравшем тщеславии после этого занудства.

На этой новости мы и распрощались, два иностранца, два русских литератора еврейской национальности и нероссийского местожительства.

– Тере-тере, – сказал он.

– Бай-бай, – сказал я. Иностранцем становишься постепенно. Постепенно перестаешь обращать внимание на мелочи:

что автобусы почище и в них не толкаются, что улицу переходят только на зеленый, что при этом идущая с поворота машина всегда тебя пропускает, а давая тебе дорогу на «зебре» тормозит трамвай, что все спокойные и нигде не лезут без очереди; привыкаешь в такси здороваться с шофером, привыкаешь к сдержанности общения и к пунктуальности встреч, что новогодние елки ставят чуть раньше, на римское Рождество, с ним можно поздравить, сделать подарок; привыкаешь к климату: погода бывает разная; привыкаешь, что в гостях не кормят обедом, что часто слышишь нерусскую речь, что вместо таблички «переучет» – «инвентура».

Как привыкаешь к новой моде, и вот она уже естественна глазу, естественны пограничники и таможенники в поезде и аэропорту – обычные люди за мелкой процедурой, как автобусные ревизоры; естественно постоять за визой (раньше было – за водкой, за хлебом, за носками, какая разница), зато в очереди за билетами стоять не надо, чисто и свободно. Естественно, что время идет, и далекие друзья приезжают к тебе все реже, и язык местных русских газет становится понемногу провинциальным, а российские газеты есть в киосках не всегда, редко, иногда. Сокращается время телевещания, долго поговаривают об отключении, ну нет уже петербургского канала, и российский исчез, остался останкинский по вечерам; к приему финского телевидения привык давно, а здесь появляются новые каналы, гонят в основном американские сериалы, и в их звуковом фоне начинаешь различать, понимать американскую речь, а эстонская обычна; что с того.

Какая, в сущности, разница, что деньги считаешь на кроны, уже не сбиваясь по инерции назвать их рублями, что переезжаешь на финские йогурты, датское пиво и американские сигареты: тот же пейзаж за окном, те же люди, разве что машины меняются, так это везде так. Однажды замечаешь, что перестал выносить мусорное ведро: весь мусор спихивается в яркий пластиковый пакет из-под очередной покупки, и сам этот мусор нарядный и пестрый: баночки, коробочки, бутылочки, не имеющие ничего общего с когдатошними помоями. Замечаешь при очередных российских катаклизмах свое приятное ощущение безопасной непричастности: твоей семьи это не касается, тебе лично не грозит. На Рождество получаешь стандартное поздравление Президента Республики, на четырех языках, русского нет, нет в документах и на вывесках. Хлопаешь шампанским под звон новогодних курантов Кремля в телике, звонишь родным и друзьям в заграницы с пожеланиями, а здесь еще только одиннадцать, и через час хлопаешь еще раз, по местному времени, и звонишь в Белоруссии и Израили, там время то же.

Ты просто живешь здесь, а мог бы жить в другом месте, что из того; внутри тебя ничего не меняется: человек есмь; страсти, мысли, убеждения, привязанности и интересы – все прежнее… Хау! мы с вами одной крови – вы и я.

Россия – остается своей: ты приезжаешь – здор-рово, ребята! Смотришь в лица, прочее мелочи. И по дороге от лица до лица – шизеешь: от грязи и бьющей в глаза, нерадивой и бесстыдной нищеты, естественной окружающим: от обшарпанных прилавков, вонючих лестниц, колдобистого асфальта; от дебильной медлительности кассирш и неприязни продавцов, от грубости равнодушия и простоты жульничества, агрессивной ауры толпы, где каждый собран за себя постоять, туземной раздрызганности упресованного телами транспорта, нежилой неуютности кабинетов и коридоров, от неряшливой дискомфортности редких кафе и убогой пустоты аптек. Таксист хам, редактор враль, слово не держится, в метро духотища, водка отрава, вязким испарением прослоена атмосфера, тягучий налет серости на всем, и от этой вселенской неустроенности устаешь: сам процесс жизни делается тебе труден неизвестно отчего.

Вдруг замечаешь, что ты не так одет: негладящиеся штаны и рубашки вольных европейцев, интеллектуалов и профессуры, неуместны среди двубортных костюмов старших банковских клерков, словно ты фрондируешь из бедности, а сьют при галстуке не вписывается меж растянутых свитеров и несвежих клетчатых рубашек. Не понимаешь выражения глаз и голоса при официальном знакомстве: тебя изучают, оценивают и взвешивают, чтобы избрать стиль общения согласно твоему положению: единой и равной для всех дистанции официального общения не существует, а ошибочная нелепа. Не готов к тому, что желание выпить по рюмке обычно переходит в намерение неукоснительно прикончить бутылку и взять следующую.

И вдруг обнаруживаешь в себе остраненную и отстраненную независимость: ребята, я уже не здешний. Я уже живу за границей. Достоинство и отрада свободы – мягкая улыбка: я ни от кого ничего не хочу, мне ни от кого ничего не надо, я – вне, отдельный: я даже нетвердо

знаю, что тут у вас происходит и по каким правилам на какие ставки вы играете. Обнимаю, искренне ваш.

И не просто хочешь домой: нет, в главном тебе здесь нравится, интересно, здесь твои друзья, здесь решаются дела и судьбы, здесь кипит жизнь – это, вроде, и твоя тоже настоящая жизнь, впечатления, события, новости, знакомства, планы, все это хорошо, – но при этом одновременно хочется жить дома. Там. И не то чтоб там лучше – нет, там никак, скучно, духовно пусто, одиноко, привычно, нормально: как раньше, как обычно; как всегда. Чуждо. И кажется, будто там для тебя внутренне ничего не изменилось, и будто сам ты внутренне не изменился, – но и здесь чуждо! тяжело; неприятно; непривычно; зависимо. Не твое. Ты был отсюда. Но ты уже не отсюда.

Россия, в которой жил, живет в твоем естестве той, неизменной, живет в рефлексах и ментальности, и по песчинке исподволь меняется вместе с твоей памятью и тобою самим. А настоящая Россия меняется реально. Ты следишь за событиями, переживаешь их умом и нервами – но не шкурой. Ты дышишь другим воздухом. И ты замучишься входить в эту воду дважды.

И Ганапольскому в «Эхе Москвы» на вопрос: ну, как тебе Москва? я мог ответить честно только одно: ребята, в этой сверхгигантской куче дерьма оскорбительно и непереносимо все. Кроме одного: но! ребята, вы все здесь…

И давно мне напоминает эта грустная метаморфоза гениальный среди прочих рассказ Брэдбери «Были они смуглые и золотоглазые». Как колонисты на Марсе постепенно и незаметно для себя превращаются в марсиан, и уже удивленно не приемлют прибывших землян, а те ломают головы, где ж колонисты и откуда ж эти марсиане. Метафора эмиграции. Особенно применимая сейчас к русским, безо всяких волевых и сознательных шагов и подготовки оказавшимся в «ближнем зарубежье». Для себя я называю его «межграничье».

«Межграничье» – так я назвал телефильм, который сделал в январе девяносто второго, сразу после распада Союза. О наступившей, сразу еще не осознанной трагедии русских, вдруг проснувшихся иностранцами за границами России, чужими и там и здесь. Фильм не был принят. Прогрессивное Останкино сочло, что он играет на руку красно-коричневым.

Забавно, что сообщил мне это тот самый босс, который раньше устроил показ ленты «Русские в Америке». Фильм отображал жизнь этих мятущихся русских в этой стране контрастов Америке преимущественно двумя красками, белой и черной. Как предписывает произведению искусства закон драматизма, преобладала черная краска. Там одни радовались свободе и бизнесу, таких было меньшинство, а большинство страдало от бездуховности жизни и ненужности русской культуры, носителями которой оно является. Я с замиранием ждал, что здесь обязан возникнуть Довлатов. И наконец – впервые увидел его: не на фотографиях, а так сказать, в движущемся и озвученном изображении. Это не была сцена довольства и успеха. Довлатов был большой, бородатый, низколобый и добродушно-мрачный. Его облик, скупой жест, интонации, внакладку на какой-то серо-бытовой фон, вполне создавали впечатление скептической разуверенности во вчерашнем, сегодняшнем и завтрашнем дне: картина выглядела пессимистично и должна была, видимо, служить мысли, что писателю в Америку ехать не надо.

Но как для России московская прописка всегда была чем-то вроде знака причастности к касте, или качества, или социального статуса (как в самой Москве можно жить, скажем, на Кутузовском, а можно в Чертаново) – так потом в России, и в Москве, американская прописка (в меньшей степени немецкая или французская, но теперь даже израильская) стала тем же свидетельством социального положения. Мол, каков шесток, таков и сверчок. Хотя давно известно: что в России наилучше всего быть иностранцем. Он живет в Америке? – о, значит, этот человек уже чего-то стоит.

Сей трафаретный взгляд не лишен здравого зерна: успех – это ведь место и время, ясно… Куда направлены прожектора, где вершатся главные дела и главные карьеры – там цена всего

автоматически повышается: и цена человека, и цена слова, и цена поступка – в глазах тех в первую очередь, кто сам не там. Ультима регис: «Так делают в Париже!» А ежли кто живет на помойке – значит, по его качествам и стремлениям там ему и место: чего ж он стоит, чего ж от него и ждать. География – наука психологическая. Твое место возле параши? исчерпывающая характеристика.

Сравнение позорное и унизительное: Россия сейчас перемешана гигантской помойкой в сепараторе, где активные элементы с легкой фракцией, сливками и дерьмом, смываются в Америку. Она – значимее. Середняком в Риме, чем патрицием в деревне. Кто раз ощутил себя гражданином великой державы – не будет счастлив в принадлежности к державе второстепенной. Раз человек не остров, а часть материка, то материк должен быть приличный. Не сам по себе, но часть семьи, рода, стаи, команды, армии, страны, и сила и честь страны – его сила и честь. Я римский гражданин!

Топот и стук: пробивают головами стенку в соседнюю камеру. Там пайка больше и прохаря новее: и закон. Правильная хата.

Кому повем мою печаль? Для умного человека все истины банальны. А для себя кто ж не умен настолько, чтоб доказывать их прочим, чьи умственные способности не то чтоб презираешь, но затрудняешься заметить невооруженным глазом, и каковое занятие сродни газетной работе и каторжному развлечению по пересыпанию кучек земли по кругу. Что провоцирует развитие нервных заболеваний.

Поэтому пьют читатели, и поэтому пьют журналисты. Писатели пьют еще и от отсутствия читателей. В питейной биографии Довлатова самое радостное, кажется, место – судя по письмам – это когда в Вене он обнаружил, что ректифицированный медицинский спирт можно купить в аптеке за одиннадцать пфеннингов пятьдесят грамм. Что есть литр водки за шиллинг. Под вопросом, учат ли в австрийских школах арифметике. Тупые австрияки не высчитали этого до сих пор.

В этом удивлении – отличие того, кто становится иностранцем сразу, прыгая с берега в воду, от того, кто делается им постепенно: сыровато, влажно, еще мокрее, и вот ты уже ни рыба ни мясо, а так, земноводное. На полпути к Луне.

Вышеупомянутыми соображениями мы и поделились с вымытой по частям холодной водой копенгагенской москвичкой, которой благородный дон, за неимением ируканских ковров, показал швейцарский офицерский нож, присовокупив мнение, что очаровавший ее знаменитый Кабаков такого просто не видел.

Этот ножик я всегда беру с собой в поездки. В его рукоятке упрятано все необходимое для застолья и мелкого ремонта всякой всячины. Даже закаленная пилка с обратным ходом, которой можно будет перепилить наручники, когда меня арестуют за нарушение всех норм литературных приличий и вообще нравственности.

Именно им я и нацелился резать закуску в кабинете главного редактора «Московских новостей», когда появился именно Кабаков. Первым делом я ткнул пальцем в нож и процитировал известное место из «Сочинителя». Кабаков извернулся красиво. Он вытащил из кармана точно такой же и положил рядом.

– Для пары, – сказал он. – На память от меня.

Тем самым он убедительно возразил, что ему таки известно, как выглядит швейцарский офицерский нож. Только этот был сделан не в Китае, но именно в Швейцарии. Не такой попался мальчик, чтоб таскать в карманах дешевку.

– Это нельзя рассматривать иначе как повод, причем уважительный,– сказал он.– Есть предложение начать пить.

Но пить мы начали позже, и за литром кукурузного самогона обсудили не только сравнительные достоинства и характеристики карманных ножей, но и ценные особенности прочего

холодного и огнестрельного оружия, обнаружив массу общих пристрастий и интересов. Писатель, оружие и пузырь – перспективное сочетание.

Это был чистый реваншизм. В советское время интеллигенту и гуманисту полагалось считать, что оружие – нечто безусловно плохое, любят его трусы, негодяи и люди вообще порочные. Хотя по этой логике армия должна быть последним прибежищем трусливых негодяев – одновременно идеалом человека провозглашался солдат, а вершиной любви – любовь Дзержинского к маузеру. Отрицая Дзержинского, вольнодумец плевал в маузер. Человек звучал гордо. Обезьяна, вставшая на задние лапы, взяла в передние палку совсем не для того, чтобы ею подтолкнуть марксиста Энгельса к созданию истмата. С тех пор оружие явилось естественным продолжением мужской руки, и по этим рукам призывалось дать, и крепко дать. Достать чернил и плакать. Где господствует мораль – там нет места истине. К несчастью или к счастью, но щек на свете меньше, чем желающих врезать по ним дважды. Поэтому естественная и природная функция любого нормального мужчины – защищать себя, свою семью и дом. От кого? Была бы шея, а любитель по ней дать всегда найдется. Почему? Потому что человек создан изменять мир, и никогда не удовлетворится существующим. Агрессивность – это аспект избыточной энергии, имманентной в человеке, благодаря которой он и переделывает мир. Хапок, захват, сражение – простейшая форма передела мира. Оружие – инструмент передела: инструмент жизни. Это сила власть: самоутверждение: я хозяин жизни, я переделываю ее по своей воле и разумению, я действую – и значит я живу. Не говоря уж проще о разных критических, пограничных ситуациях, когда оружие решает вопрос самого твоего существования (а честь? а достоинство? а справедливость?..).

Поэтому джигит можэт быть оборванэц, но чтоб оружие в серебре. И коллекции оружия всех эпох – тому подтверждение.

Оденьте матадора в тренировочный костюм и дайте ему в руки колун – что скажут испанцы о моменте истины?

Один даст съесть пуд соли – другой возьмет в разведку. Человек познается в пограничной ситуации: на пределе опасности и напряжения. И неизбежно – стремится к ним: реализовать все заложенные в нем силы и возможности. Где ж жизнь острее, чем в бою, и мрачной бездны на краю.

Поэтому военные +и блатные песни Высоцкого. Адекватный материал: накал и риск борьбы на грани смерти – обнажение сути.

Поэтому трещит, бомбит, взрывается голливудское муви.

Поэтому грохочут кольты и базуки у Кабакова, а московские девушки у Пелевина рассуждают о калибре авиапушек люфтваффе.

Писатель, авантюрист в накале нервов и вершения миров за своим столом, влеком инфернальной красотой оружия как знаком сильной страсти, решительных поступков, крупных событий: всемогущества и крутизны в своем воображаемом, созданном мире.

Естественная сублимация. Без нужды не обнажай, без славы не вкладывай.

И когда в Эстонии сделали свободную продажу оружия, я сверился с любимыми справочниками, выправил справку, что я не псих, и справку, что был охотником и умею стрелять, и пошел в магазины покупать «Гризли». Это .45 кольтовская машина под патрон «винчестер-магнум», которая должна выкидывать нежелательного посетителя обратно на лестницу прямо сквозь дверь. Хотя вдвое дешевле обходился несравненно безотказный «Вальтер ПП», 9 мм которого вполне достаточно, чтоб устроить любой сборной по карате прослушивание Шопена лежа.

Хотелось пощелкать пистолетом и пострелять, но я был безоружен и нетрезв, а Кабаков подписывал номер: здесь с легким креном мы подошли к концу забористого бурбона «Катти Сарк», Нэн – короткой рубашки, с непревзойденной в истории скоростью парусника гонявшей через ревущие сороковые, свист и пена, в ту самую Австралию, откуда теперь тоже приходят

письма от старых друзей, где тоже переводят с русского и платят деньги за чтение лекций по современной русской прозе. Боги, боги мои.

– А ведь я хотел уехать в Австралию, Бисмарк.

– Глупости, Мольтке! Что б вы делали в Австралии?

– Разводил бы. Розы.

– Зачем?!

– На продажу…

– Ерунда! Там не растут розы.

– А что там растет?

– Овцы.

– Ну, разводил бы овец…

– Зачем?!

– На продажу…

В самолете австралийской линии я наслаждался мемуарами Бунюэля. Чтобы в двадцать седьмом году сделать «Андалузского щенка», надо быть действительно гением; это вам не Бергман. Когда в восемьдесят втором этот фильм демонстрировался в Доме кино, то на аннальном кадре, крупным планом бритва половинит глаз, в зале раздался вскрик и звук упавшего тела. Нервный вскрик и тяжелое тело принадлежали одному из лучших довлатовских друзей Евгению Рейну. Ку дэ мэтр!

А лучшее место в мемуарах Бунюэля – это как он читал мемуары Дали. Закадычные земляки, они решительно разошлись после знакомства с Гала. Она предпочла Дали, а Дали предпочел ее, Бунюэль же сам хотел предпочесть их обоих, в чем ему было отказано.

Объективность и такт не числились среди достоинств Дали и не входили в его задачи. Бунюэль ознакомился в мемуарах, среди прочего интересного, кое с чем о себе: и несколько огорчился. Он огорчился, снял телефонную трубку и позвонил Дали, который в это время был в Париже.

– Здравствуй, Сальваторе, – сказал он. – Это я, Луис.

– Здравствуй, Луис,– ничуть не удивившись, сказал Дали. – Очень рад тебя слышать.

– Я подумал, почему бы нам не встретиться.

– Действительно, хорошо было бы встретиться.

– Почему бы нам не посидеть, не выпить вина…

– Это было бы прекрасно, Луис…

И вот, двадцать лет не видевшись, знаменитый Бунюэль и еще более знаменитый Дали встречаются в кафе. Они обнимаются, вздыхают, сколько лет сколько зим, печально и любовно оглядывают друг друга: садятся под тентом на бульваре, Париж, пьют белое вино, курят; вспоминают молодость, говорят о жизни и об искусстве. И наконец Бунюэль приступает:

– Сальваторе… Я тут недавно прочитал твои мемуары. Прекрасная книга. Замечательная! Я получил наслаждение. Но, признаюсь, хочу спросить тебя, все-таки мы с тобой старые друзья, вместе когда-то начинали, вместе бедствовали… скажи – ведь это ни по сюжету необходимо, ни смысловой нагрузки… не улавливается: зачем тебе нужно было так меня обосрать? Это так обязательно? или тебе было приятно? не могу поверить…

На что Дали глотнул вина, затянулся сигарой, напустил дым, подкрутил иголочки своих золоченых усов, и с нежностью ответил:

– Луис! Ты ведь понимаешь, что эту книгу я написал, чтобы возвести на пьедестал себя. А не тебя.

Золотые слова. Есть у меня раздражающая привычка выражать простую мысль заходом столь дальним, как стратегический бомбер за 200 км входит в посадочную глиссаду, целясь на полосу. На прудах колышутся ненюфары, потому что пишутся мемуары. Эту мартыновскую строчку я понял, только прочитав Ростана, как там ненюфары распускаются в темной глубине

– а всплывают уже являя себя благоуханными и белоснежными: поэты, значит, так же. И тут я – весь в белом. Насчет благоуханных и белоснежных никто сейчас не уверен, конечно, – некоторые наоборот долго там в глубине себя барахтаются, чтоб всплыть готовой какашкой, дабы привлечь внимание почтеннейшей публики резким контрастом цвета и запаха среди оных лилий. Лютики-цветочки. Не ходи в наш садик, очаровашечка. Каждый пишет как он слышит. Медведь те на ухо. О время мое, украшают тебя мемуары, как янычары пашу: я не хочу писать мемуары, но фактически я их пишу. Соло для фагота без ан сам бля.

Эти стихи я пытался переводить старому немцу, с которым мы на аэродроме в Сиднее сидели и на кофе налегали. Немец был мудр, самовлюблен и прожорлив. Ему нравилось обобщать.

– Трагикомизм нашего положения в том, – пожаловался он, – что мы добиваемся признания в глазах людей, чье мнение презираем.

И понес строить:

– Поскольку мы имеем дело не с предметами, а с нашими представлениями о них, всякая честная философия неизбежно должна быть идеалистической!

– И реализм в литературе – на деле идеализм без берегов?

– Натюрлих!

Я чувствовал, что тупею. Потому и попытался переключить разговор на более знакомый предмет русской литературы.

– Я читал Довлатова, – сообщил немец и в испуге уставился на мое лицо.

Спас меня подоспевший Мишка Вайскопф. С опозданием на три часа он все-таки приехал меня встречать. Однажды в Таллинне я встретил его с рижским поездом, и через три дня он приехал из Киева. Он перепутал направления и потерял паспорт, а деньги у него украли. На него нельзя сердиться. В семьдесят третьем году он пошел добровольцем на израильско-арабскую войну, и угодил под трибунал за путаницу в документах и утерю личного оружия в общественном транспорте. Я его люблю. В Сиднее он спас меня от инфаркта.

– А ты знаешь, что Борька Фрейдин тоже здесь? – первым делом сообщил он, трогая машину. – В компьютерной фирме работает.

За окном мелькал зелено-белый пейзаж: слепил.

– Так далеко от Таллинна, а вполне приличный город, – сказал я. – Не скучно?

– Ты что, – оживился Мишка. – Я тут недавно вернулся из Новой Зеландии, так вот это глушь, я тебе доложу. Вообще не сообразишь, за каким краем света находишься: ясно только, что вверх ногами ко всему прочему человечеству. Ужас: одни бараны пасут других баранов. А у дверей, снаружи, так просто приделаны поручни, как на танковой башне: держаться, когда ураганы: чтоб, значит, на хрен не сдуло. В окружающий Мировой Океан. А тут-то еще – что ты, цивилизация.

– Господи. За каким хреном тебя туда еще занесло?

– Лекции читал. Месяц.

– Ну ты просветитель. Миссионер! Кому, о чем?

– Примерно. По Талмуду. В местной еврейской общине.

– Наконец-то выпускник тартуского университета нашел приличную работу в Южном полушарии.

– А я тебе не говорил? Я теперь работаю в Институте Талмуда в Иерусалиме. Визиточку возьми… Кстати об Иерусалиме: ты слышал, что у Генделева был инсульт?

Как мы стареем.

В девяностом году в Ерушалаиме, на дне рождения Вайскопфа, мы с Генделевым нажрались в хлам, и закончили ночь в пять часов в последнем открытом баре, довесив на русскую водку, мексиканскую текилу и израильское вино полдюжины пива «Маккаби». Перед рассве-

том в закоулках арабского квартала мы были обнаружены патрульным джипом и подброшены в центр.

– С ума сошли так пить? – спросил дружелюбный головорез по-русски с грузинским акцентом.– Ножа захотелось? Недавно приехали? Откуда? Я из Тбилиси.

– Гамарджоба! – ответил Генделев. – Нож – не проблема. – И стал рассказывать, как на операции он, анестезиолог, давая общий наркоз, снотворное дал, а обездвиживающее забыл – и вдруг посреди операции, брюшная полость открыта, больная села на столе. Бригада офанарела от ужаса. Хирурга пришлось буквально откачивать. Генделева выгнали из госпиталя, и больше он врачом работать не стал. Он гениальный поэт.

В доказательство и желая сделать приятное мы спели патрулю старую балладу: Корчит тело России от ударов тяжелых подков, непутевы мессии офицерских полков, и похмельем измучен, от вина и жары сатанел, пел о тройке поручик у воды Дарданелл: чей ты сын? твоя память – лишь сон; пей! за багрянец осин петергофских аллей, за рассвет, за Неву… Сентиментальное было путешествие.

Эту песню он написал к фильму «Бег» в семидесятом году, когда мы познакомились в ленинградском клубе песни. Музыку сочинил Ленька Нирман. Ленька давно в Тулузе, записывает диски, руководит хором, растит детей, живет в родовом замке жены и раз в три года прилетает в Ленинград пить со старыми друзьями и прошлой женой, которая была влюблена в меня, так он ей наврал, что я гомосексуалист, вот хитрый сука; а теперь она замужем за Серегой Синельниковым, моим же корешем и лучшим другом Сереги Саульского, с которым мы и пили в Париже и пели его старую: Мы привыкаем ко всему – к плохой погоде, к вокзальной давке и к улыбкам ресторанным, мы привыкаем даже если бьют по морде, и даже к ранам – как это странно… ату меня, мой Петербург! ату! И походит эта шизоидная фуга на анекдот про то, как пьяный мочится на цоколь Аничкова дворца, а турист-интеллигент робко интересуется у него, как пройти к Зимнему дворцу, на что пьяный рассудительно отвечает: а на фига тебе Зимний? писай здесь!

Этим древним питерским анекдотом и напутствовал меня Генделев, когда за неимением Зимнего дворца мы обошлись тахана мерказит, то есть центральным автовокзалом, откуда первым автобусом я уехал на север, в Цфат, где жил у брата. Автобус был набит солдатами, и солдаты были молчаливы. Вчера Саддам Хусейн оккупировал Кувейт, и в Израиле пахло очередной войной. Ракетные бомбардировки начались позднее.

За два часа пересекаешь в длину полстраны. Автобус полез в горы. Водитель в кипе крутил серпантины наизусть. Маленький древний Цфат спасался наверху. От Сирии и Ливана это расстояние гаубичного плевка.

Я отоспался днем, а вечером пришел из госпиталя брат, и мы отправились посидеть и выпить кофе на Ерушалаимскую. Это единственное место в мире. Ни Дизенгоф, ни Ундер ден Линден, ни Бродвей, ни Пиккадили – нет подобных. Недолгая пешеходка вымощена розоватым галилейским камнем. С темнотой и звездами зажигаются фонари у столиков и навесов, светятся нараспашку лавки и кафе, чередуя негромкую музыку, и все приветствуют, потому что знакомы и сошлись судьбами. Раскаленные за день сосновые посадки на склонах снизу отдают смолистое тепло в остывающий горный воздух. Рубеж Святой Земли, ветхозаветная твердыня художников и богословов: уют и вершина.

– Вали-ка ты отсюда, – озаботился брат.

– Куда? – махнул я.

– Домой.

– Где-с?

– Здесь сейчас поддерг.

– Умирать – так хоть за дело.

– Успокойся. Необученного не возьмут.

– Старший офицер батареи.

– Не смеши. Война кончится быстрее твоей переподготовки. Тут свой масштаб.

А ночью из окна различимо далеко внизу Тивериадское озеро, по контуру берега световая россыпь Тверии, и огоньки Капернаума, где впервые Христос явился рыбарям. Тишину колеблют приливы приглушенного стрекотанья: патрульный вертолет обходит локаторные и ракетные точки ПВО на соседних высотах.

Радио каждые полчаса прерывало еврейские песни последними известиями. Их завершал обзор культуры. «В Нью-Йорке в возрасте сорока девяти лет скончался от сердечного приступа русский писатель Сергей Довлатов».

– Мишка, ты слышал? – сказал брат. – Я слышал, – сказал я.

Радио трещало дальними помехами. Земля была невидимой и огромной: нереальным множеством миров. Они слали сигналы сквозь пространство.

Жизнь оскольчато преломилась в разные измерения. Странно бередит напоминание, что живешь в них одновременно.

Мы встали и выпили водки «Кеглевич» на помин души писателя Сергея Довлатова.

И потом, после прощания, когда трехсотместный «Ил» влетел ночью в грозу над Средиземным и стал болтаться и махать крыльями так, что им полагалось оторваться, пристегнутые пассажиры напряженно пошучивали через паузы, и вместо полагающегося на всякий случай подведения итогов прожитой жизни вертелась в поверхности сознания обрывистая чепуха, уж как водится, не курить, а в туалете унитаз выпрыгивает из-под тебя, и не проникала смыслом, но помнилась, уж больно уместна, из Клячкина, с которым еще в его ленинградской молодости я студентом пил за одним столом, поскольку в ЛИСИ они учились в группе с моим дядькой и приятельствовали, строчка его прощальной песни, отлетной: Покидаю я страну, где – прожил жизнь, не разберу – чью…

Куда мчимся, да? Птица-тройка дает ответ, дышлом да мозги вон, впрягли в бричку лебедя, рака и щуку и задумали сыграть квартет, но мартышка в старости слаба мозгами стала, кибитка потеряла колесо, и докатилось оно и до Москвы, и до Казани, и до Трансвааля, страны моей: земля-то – она круглая, и вертится.

А борт трещал, как пустой орех, вправду и никакой тут символики, лишь однажды в Ан-2 над Кара-Кумами попав в песчаную бурю скакал я в такой болтанке, но здесь при массе и скорости трясло жестче, как бьет на рельсах, и долго, дьявол, бесконечно, я чувствовал себя как балда в проруби, ведь идентифицировать нечего будет: гражданин Никакого государства, представитель никакой профессии, болтаясь меж хлябью вод и небесной неизвестно где и желающий невесть чего неведомо зачем.

А я отнюдь не убежден, что кто-то там наверху хорошо ко мне относится.

В совершенном беспамятстве, Таллинн – ?

2. НЕ НОЖИК НЕ СЕРЕЖИ НЕ ДОВЛАТОВА
опыт эзотерики и экзегетики

«Признак высшего стиля – отшлифованная темнота. Человек скользит по загадкам глубины как на коньках по замерзшему озеру.

Тот, кто комментирует сам себя, опускается ниже своего уровня».

Эрнст Юнгер

Роман «Ножик Сережи Довлатова» был окончен в марте 1994 года. Первоначальный объем текста в 250 страниц был миниатюризирован до 68. Стояла задача создать «карманный линкор», убрав большую часть содержания в подтекст и избавившись от всего не сугубо необходимого.

Впервые опубликован в журнале «Знамя» № 6 за 1994 год. Включен в авторские сборники «А вот те шиш» (Москва, «Вагриус», 1994), «Кавалерийский марш» (Санкт-Петербург, «Лань», 1996), «Ножик Сережи Довлатова» (Харьков, «Фолио», 1997; Ростов-на-Дону, «Феникс», 1998; Санкт-Петербург, «Нева», 1999), «Хочу быть дворником» (Москва, ОЛМА-пресс, 2000). Суммарный тираж более 250 000 экз.

Вызвал резкую полемику в прессе. (В. Курицын, «Поверхность лезвия», «Сегодня», 17 авг. 94 г.; В. Новиков, «Изобретатель», «Общая газета», 25 авг. 94 г.; Т. Морозова, «Я бы его повесил», «Литературная газета», 31 авг. 94 г.; Ю. Тарантул, «Не баечник, но рассказчик», «Независимая газета», 19 сент. 94 г.; А. Мокроусов, «А вот те шиш!», «Огонек» № 32, 94 г.; М. Золотоносов, «Казус Веллер», «Московские новости», 13 нояб. 94 г.; Т. Блажнова, «А вот мне шиш», «Книжное обозрение», 25 февр. 95 г. и др.)

Номинировался на Букеровскую премию за лучший русский роман года.

Посредством красных глаз слон так хорошо прятался в помидорах, что его там никто не видел.

стр. 17

В Копенгагене я сделал сделку.

В концентрированном шлифованном тексте первая фраза, как известно, несет особую нагрузку,

А посему заслуживает внимательного анализа.

Первая же фраза содержит местоимение «я». Что естественно свидетельствует об эгоцентричности авторского взгляда. Более того: буква «я» расположена в центральной позиции фразы, равноудаленной от конца и начала; «я» является, таким образом, точкой симметрии этой экспозиции. Но и более того: это «я» – тринадцатая буква как от начала фразы, так и от ее конца. Сакральность числа тринадцать традиционно ассоциируется с роковым стечением неблагоприятных обстоятельств и неудачей непреодолимой силы. Автор заведомо помещает себя в нежелательное положение и расписывается в собственном бессилии изменить ситуацию. Оставаясь при этом, однако, центром ситуации.

Из десяти гласных этой фразы ровно половину – пять – составляет буква «е». В восточнославянских языках этот звук имеет как правило цветовой ассоциацией синеву, пространственной – простор, осязательной – прохладу, предметной – воду. На уровне традиционного психоанализа раскодируется как стремление к свободе, внутренняя обособленность, склонность к покою и ироническому ключу размышлений.

Предлогом «В» открывается типичный сказовый зачин по месту действия. Одновременно «в», целенаправленно указывая на ограничение по месту и времени, отражает подсозна-

тельное стремление рассказчика к интровертности: форма являет попытку выйти за пределы собственной субъективности.

«Копенгаген» для русского (особенно вдобавок советского) уха всегда звучало экзотикой с устоявшимся ироническим оттенком. Синоним «изячного». Нашло отражение в шутливой присказке «Как в лучших домах Копенгагена». Подсознательные пласты: город Андерсена, знак сказочности происходящего. Ассоциации сознательные – анекдотичны, общеизвестные анекдоты «чапаевской серии»: «Василий Иванович! Как правильно сказать – „сделал фураж" или „сделал фужер"? – Да я, Петька, в этом вопросе не Копенгаген». То есть автор заведомо и исподволь внедряет в подсознание читателя сомнение в компетентности и реалистичности как своего, авторского, так и читательского взгляда.

«сделал сделку» – тавтология, просто лезущая в глаза своей неслучайной неуклюжестью. Нарочитая самопародия автоматически перекликается с фольклорными куплетами: «Маркиз маркизе сделал сделку – он поломал маркизе… брошку! И чтоб утешить свою крошку, купил ей новую безделку». Здесь сразу заявлены незадачливость автора, его насмешка над собой и всем, что он излагает. Такое вскрытие смысла кладет дополнительный оттенок на последующую в тексте покупку, с чего и начинается изложение всех действий.

«я сделал» – выражение категорически активного начала и принятие полной ответственности за сделанное.

Да – вот так примерно раскручивается одна неслучайная фраза. Типа точечного радиосообщения, когда радиограмма сжимается раз в триста по времени и выстреливается с проткнувшей воду антенны кратким и незначащим для непосвященного писком. А кто знал время и частоту – примет и раскрутит. А что?

стр. 17

Заработанные лекциями деньги сунул в свою книжку…

Лекции по современной русской прозе автор читал в университете Оденсе весной 1992 года. Плати ли в долларовом исчислении полторы сотни за академическую пару, и по масштабам того нищего времени я приподнялся, рассчитывая прожить год безбедно. «Книжку» – сборник рассказов «Разбиватель сердец», вышедший в Таллинне, изд. «Ээсти раамат», 1988 г.

Но зачем деньги совать в книжку, что за неуклюжая аллегория писательского труда?! Или намек на то, что я давал взятку журналистке за то, что она меня печатала и про меня писала?..

Дело в том, что в копенгагенском метро можно спокойно ездить без билетов, вход-выход на станцию и в вагон свободный. Но раз-другой в месяц проходит кампания по контролю – и тогда можно налететь на штраф долларов в двести. Контроль работает так: вот двери уже закрываются – и вот в каждой двери вырастает по ревизору, и предпринять ничего уже нельзя, и драпать поздно.

В последний день своего пребывания в Копене я опаздывал из пригородного района, где жил, в центр: а поезд ходит раз в двадцать минут. Вскочив в последний миг с разбега, я не успел прокомпостировать в станционном автомате свой проездной на двадцать поездок – еще штук шесть у меня оставалось! Но без компостера проездной недействителен. (Отдельно мой билет на три зоны стоил бы тогда восемнадцать крон – три доллара: вот цена моего невольного мелкого жульничества.)

И сев, я шкурой почувствовал: будет облава. И опаздывать на встречу нельзя – ехать надо! Такси?! я не миллионер, да я вообще еще нищий совок. Штраф?! Да это месяц-полтора жизни всей семьей. Ну и спрятал деньги как мог – в книжку, а книжку – в глубину портфеля. Оставил в кошельке полета крон мелочью. И с преувеличенным вниманием тупого туриста углубился в изучение плана города.

Третья станция – и контроль пошел!!! Вместо паспорта я показал писательский билет: уже эстонский, серый с серебром, дружественной латиницей. На гнусавом английском запел о

своих лекциях, вымогая снисхождение. И совал в глаза свой незакомпостированный проездной. И беспомощно раскрывал нищий кошелек.

Датские ревизоры безжалостны. Все уловки иммигрантов набили им оскомину. С ледяным равнодушием он кончиками пальцев взял мою писательскую корочку, достал из планшета квитанцию и списал на нее номер, выписав под ним сумму штрафа. Жаба задушила меня: я побледнел и приготовился брать ноты фальцетом.

Мне сунули квитанцию. Я долго осознавал цифру. Ревизор виновато улыбнулся. Когда до меня дошло, я поборол желание поцеловать его непосредственно в лицо. С меня хотели содрать всего 36 крон – стоимость проезда в оба конца! В умилении я перечислил все известные мне благодарственные выражения и рассыпал мелочь по полу. Мы собрали ее вдвоем и расстались горячими друзьями.

Квитанцию я упрятал в бумажник – она служила теперь законным билетом и свидетельством моего законопослушания. Сойдя на своей станции, я на радостях употребил восемь из оставшихся мелочью двенадцати крон на бутылочку несравненного карлсбергского портера. Этот портер, кроме высоких вкусовых качеств, отличается редкостным КПД. Особенно натощак под пару сигарет. Я был восхищен своей удачливостью. Я был богат, сметлив и расторопен!

Ну и – факт закладки денег в книжку оказался начисто вытеснен из оперативной памяти…

(Становится ли теперь понятно, чем были набиты первоначально 250 страниц романа? Да их могло быть 2500 – легко.)

стр. 17

…подарил журналистке…

Мария Тетцлав – известная датская переводчица с русского и эссеистка. Рост, юмор, энергетика, обязательность. Так может выглядеть перешагнувшая порог первой молодости валькирия, которой надоело летать над битвами, и она кончила университет.

стр. 17

…из газеты с трудновоспроизводимым названием…

«Векендависен» («Weekendavisen») – примерно «культурные события недели». Мария напечатала в ней две мои большие – в разворот – статьи о русской культуре и литературе в проблематике того момента. За каждую мне с королевской обязательностью перевели по две тысячи крон – триста тридцать зеленых. Да я роскошествовал, как набоб! Естественно, даме причитались как минимум поцелуй с цветиками и кофе с рюмкой чего-нибудь. Я цвел и шиковал!

стр. 17

…полторы тысячи крон…

Шесть датских крон равнялись тогда одному доллару. Следует учесть, что социалистические страны Северной Европы очень дороги – разве что Швейцария и Япония дороже. Тридцать крон стоила тогда пачка сигарет, а от цен на водку глаза лезли на лоб еще до употребления.

стр. 17

…«Сезам, откройся!»

Приказ тайной пещере, укрывавшей посвященных и несметные сокровища в восточной сказке «Али-баба и сорок разбойников». Характерный намек на неуместное вываливание тайн и сокровищ своей жизни, хранящихся под скромной оболочкой, на обозрение малоподготовленных читателей.

стр. 17

…фотоаппарат прыгнул из него в канал…

Естественно прочитывается как то, что объективное отражение действительности кануло в текучую воду, в которую нельзя войти дважды – тем более что это чужая вода, заграничная: не будет вам выдачи из души никакой объективности, нету ее там: фотографическое отображение

реальности исключается с самого начала. Вроде это все и документальное фотографирование – а вроде одновременно и нет: фототекст не является таковым.

стр. 17

Ненавижу Венецию.

Фигура усилительно-ироническая, Ну разумеется же ни один русский не может ненавидеть Венецию, которая есть для него по определению символ далекого, прекрасного, светского и высококультурного, – шедевр духа, одним словом: эстетическая программа. Тем более если кто конкретно чуть разбирается в архитектуре, истории и вообще европейской культуре. Налицо что? Отрицание культового знака и снижение его посредством насмешки над личной бытовой деталью. Отрицание «ах-Венеции» снобистской традиции конформистов – паракультурного стада: мира телешоу кинофестивалей, высокопарного упокоения поэта-нобелевца, у которого чту чудную строку: «Лучший вид на этот город, если сесть в бомбардировщик». Умело и популярно одарил весь этот ансамбль памятником Казанове Михаил Шемякин – о чем оповестили в свой час все российские средства массовой информации: разумно и скучно умолчав, однако, что через месяц шемякинскую скульптуру городские власти задвинули с глаз подальше и навсегда, так что даже профессиональные гиды у Сен-Марко уже не могут осветить ее существование. Скромнее надо быть, господа.

стр. 17

Продавщица сломала ноготь…

У советских собственная гордость, по удачному выражению Маяковского. Настроение типа: я вам когти-то пообломаю. И насчет «моих любимых чисел». Число правит миром, учил Пифагор, и число есть Бог. Замучатся продавщицы управлять моим миром и всучивать мне своего Бога за презренный металл. Не по когтям им «наших душ золотые россыпи», – понялнет? А любимые числа – это номер дома и квартиры одной старой знакомой, я их всю жизнь выставляю на автоматических камерах хранения.

стр. 17

«…мои любимые числа».

И возникает такая аллегория, что первая любовь хранит как на замке все мое добро в бесконечных странствиях по миру, и никому не известны знаки, посредством которых можно эти сокровища открыть, и вспоминаешь на всех вокзалах мира старую улочку, и дребезжащий трамвай, и стандартную пятиэтажку серого силикатного кирпича, три окна на четвертом этаже, звонок у деревянной стандартной двери коричневого казенного цвета, и сейчас раздадутся шаги, и голос, и куда бы ты ни приезжал – ты вновь обнаруживаешь себя в параллельном мире, где время не движется, юность вечна, вся жизнь впереди… я вам покажу когтями трогать лакированными, дешевые наймиты мирового капитала!

стр. 17

…достал бумажник и показал ей, что там пусто.

Эта тема денег и бедности проходит необходимой нитью через все повествование о литературной жизни и эмиграции; жизнь, такова жизнь… И одновременно – тема непродажности: нельзя купить того, кто все равно всегда окажется нищ; и не получается подсунуть ему эрзацы в прогорающей лавке современной цивилизации.

стр. 17

…викинги перед дракой нагрызались мухоморов.

Конечно, это упрощение и поверхностность с оттенком околонаучной сплетни. Но именно тогда, когда происходила вся эта история, пика достигла слава Льва Гумилева, блестящего и гениального компилятора, мономана и подтасовщика истории: он родил идею, и она единая владела им неотрывно – так и создаются теории. Из знаменитого сочинения «Этногенез и биосфера Земли» заимствовано и это сомнительное утверждение: ирония иронией – но и здесь выражен дух эпохи: уж и понять, глядя на нынешних датчан, вымирающих с испове-

дью либеральной идеи, как тысячу лет назад даны ставили на меч пол-Европы и заставляли дрожать мир.

стр. 17

Редакцию все давно покинули.

Пару потомков этих данов я все же достал заполночь в редакции, звоня и стуча до тех пор, пока на шум не пришли две девушки-полицейских, обрадовавшись развлечению. Втроем мы вскрыли подъезд, как банку с кильками, причем килек заставили самих открыть изнутри свою банку.

То был очаровательный крохотный сюжет. Ночной редактор с охранником накачались пивом как шарики. На вопрос о Марии они весело и вразумительно сообщили, что бордель через два квартала. О книге – что книжный магазин через три дома, но сейчас уже закрыт, а они книгами не торгуют. О деньгах – что они не уполномочены выдавать деньги посетителям, тем более неизвестным, иностранным и, опять же, ночью. Полицейские были в восторге от их логики.

Когда я сумел объяснить, что это я дал Марии деньги, они тут же предложили дать и им по стольку же, выразив надежду, что я не гетеросексуальный шовинист. Они оттягивались по полной. И сказали, что я лучший автор в истории редакции – сам несет деньги, причем по отличной ставке.

Потом они вскрыли кабинет, письменный стол, извлекли мою книжку, проверили деньги и торжественно вручили мне, взяв обещание приезжать почаще и носить денег побольше. Потом я остался с ними пить пиво. Потом мне объяснили, где бензоколонка, на которой в магазинчике работает румын, у которого можно купить контрабандную водку – и я ушел, и нашел, и пришел обратно. Не знаю, как сейчас, а тогда это была отличная газета.

стр. 17

Журналистка отправилась проводить уик-энд на яхте.

Мне неизвестен журналист, даже американский, имеющий собственную яхту. Стало быть, пользоваться можно лишь яхтой друзей – богатых друзей. Одна из характерных особенностей профессии журналиста – возможность связей в мире сильных: и снобизм (милое простительное тщеславие) упоминать о высоком уровне своего вращения: не следил ведь я за ней – сама сказала насчет яхты (зачем? кого интересовало? а чтоб знал, между прочим, с кем дело имею). Семья? дети? уровень амбиций? удачные и неудачные любовные связи? Несостоявшаяся девичья мечта о муже-капитане и океанских ветрах? Простейший социопсихологический анализ любой фразы развертывает ее в обширное полотно.

стр. 17

…«Торпедоносцы»…

Емким и напрасно забытым полотном режиссера Семена Ароновича был этот фильм. «Ленфильм», 1982. Родион Нахапетов был еще стопроцентно советским актером, никуда не уезжал и играл главного героя, командира экипажа. Уже в горящем самолете, заходя в последнюю атаку на немецкий крейсер, непримиримо и зло констатирует: «Будем карать гадов!..»

стр. 17

Пароход у меня уходил…

Уж не знаю, как я покарал бы свой корабль, если бы опоздал на него. Билет на самолет Таллинн-Копенгаген стоил долларов четыреста, и их у меня тогда, естественно, не было. А билет на грузовой паром в два конца стоил меньше сотни – если ты ехал без машины, естественно, занимая лишь место в каюте для пассажиров: таких мест было двадцать четыре, и заказывать надо было за полгода, чтоб не кончились. Паромная линия Таллинн-Хельсинки-Орхус-Копенгаген-Хельсинки-Таллинн существовала много лет, пока в конце девяностых ее не сняли за падением объема грузоперевозок и нерентабельностью. Небольшие (порядка 5000 тонн) грузовики ро-ро, авто– и контейнеровозы, выдерживали расписание с

четкостью трансатлантических линий и предоставляли скромный комфорт: каюта на двоих, питание за столом команды четырехразовое и качественное, западные боевики по видику, а они тогда были отнюдь не у всех, – трое суток морского круиза. А еще можно было у второго помощника – секонда, грузового – одолжить в судовой канцелярии лишнюю пишущую машинку, пристроить ее на столик в каюте и выстукивать статьи до полного самоудовлетворения. А еще можно было с прихваченной с берега бутылкой зайти вечером к кому из комсостава и слушать разные морские истории. Ты постепенно въезжал в специфику, в ритуал, в моряцкую жизнь – дорога обретала смысл и наполнялась информацией. По лицам буфетчицы и уборщицы, когда все входили в кают-компанию на кормежку, ты вскоре понимал, кто с кем спит в рейсе, и кто за кого больше держится.

стр. 17

…через наш банк получишь лишь соболезнование о валютных трудностях державы.

Больше всего держались, естественно, за деньги и открытые визы. А держаться за деньги в то время как раз стало особенно трудно. Если о частности – еще в 91-м, с началом реформ в России, СовВнешторгбанк заморозил все валютные вклады всех видов и форм счетов. Среди прочих граждан были ограблены и литераторы, которые были обязаны держать в этом банке все гонорары от зарубежных изданий, переведенные ВААПом через Москву. Кто не знает: ВААЛ – это была Всесоюзная Ассоциация Авторских Прав, и официально все отношения сов. писателя с загран. издателем должны были строиться только через ВААЛ. Налог с гонорара в пользу государства он взимал от 90 до 97% – чтоб нынешние налогоплательщики усовестились и не плакали. Хотите увлекательнейшую книгу про то, как совписы боролись с ВААПом? Нет ничего проще! Как переправляли за кордон с оказией распоряжения оставить все деньги в западном банке, открыв счет на доверенное лицо, или пожертвовать фиктивно в какой-то благотворительный фонд, или скрутить сумму в черный нал и ввезти контрабандой или хорошими вещами в Союз, и т.д., и т.п. Вспомнишь – вздрогнешь – и любое слово рассыпается на песчинки, и при ближайшем рассмотрении из этих песчинок выстраивается самостоятельный роман, имеющий тенденцию стать бесконечным, каковы и есть свойства нашего познания.

стр. 18

…к московской знакомой, недавней эмигрантке.

Что характерно – конкретности этому нашему бесконечному познанию иногда ну совершенно же не нужны. Ну вот я открою: Анна Голубева, выпускница филфака МГУ, в 95-м вернулась в Москву. Нужна кому эта справка? На хрен не нужна. Но, во-первых, если уж давать справки – то по всему тексту, иначе можно проколоться при отборе и упустить именно то, что имеет значение. Во-вторых – каждая справка тут же норовит, как расколовшийся при попадании корпус вакуумной бомбы, заполнить стремительно расширяющимся составом своего содержимого весь имеющийся объем пространства. Сравнение не слишком громоздкое, вы вытягиваете? Тут же вспоминаешь ее голос, интонации, взгляд, внешность, судьбу, жизнь, как была одета, вспоминаешь степень энергетики, исходящей от человека, по которой почти всегда можешь определить его прошлое и будущее в общих чертах и степень его удачливости; вспоминаешь, как попытался сделать угрожающий выпад в твою сторону чернокожий нарк в агрессии между кайфом, попавшись навстречу на мосту через канал, когда ты шел к ней в гости, и как он споткнулся об выражение твоего лица, потому что по нашему разумению, тертому крутыми парнями в родных подворотнях, негр днем в Дании никак не может быть опасен, а если дернется, надо вырвать ему кадык и мошонку: в тебе срабатывает государственно-расовый комплекс превосходства, и вместо потенциальной жертвы встречный друган ощущает потенциального своего убийцу, и сразу делается милым парнем, занятым собственными делами – – – и отсюда есть ход об иммиграции из третьего мира, захлестнувшей сверхгуманную Данию, а это может быть огромный роман-эпопея о возмездии за эксплуатацию черной расы, о старении наций, о самоубийстве цивилизации, о трагедии и фарсе межрасовых браков старых времен

и нынешних, обычных, о сексуальных взаимоотношениях и вожделениях рас и о снижении рождаемости – а может быть роман на обычную тему одиночества эмигранта в благополучной, но чужой стране – или о том, что Москва – это навсегда, и расползаясь по миру мы расширяем границы нашего города и натягиваем их на глобус, как чулок, и так далее. Не дайте мне ни единого слова – и это будет роман о муках отсутствия слова и невозможности выразить все, что переполняет человека.

Понятно ли теперь, почему в моем романе было много страниц, а могло быть сколь угодно много?..

стр. 18

…выпили водки…

И когда слов нет, а водка есть, переполняющийся и переполняемый избытком либо недостатком (и недостатком можно переполняться и мучиться) мыслей и чувств человек пьет, и мычит, и стукает по столу, и выпытывает истомно: «Ты меня уважаешь?» – то есть: «Ты понимаешь, что внутри я хороший, добрый, умный, тонкий, достойный, незаслуженно страдающий, заслуживающий лучшей и большей доли?

Ты оцениваешь благо общаться со мной, тебе со мной интересно, правда? Я сильный, я могу быть хорошим надежным другом, ты меня цени, пожалуйста! Мне просто очень нужно, чтобы меня видели и понимали вот таким, а то ведь в жизни одна суета и бытовуха заедает, ежедневная круговерть, сам знаешь… Ты меня увидел? почувствовал? понял?» Вот, вкратце, что значит русский вопрос: «Ты меня уважаешь?». Мы с моей знакомой уважали друг друга.

стр. 18

…закусили бананом…

Выпивка было дорога, зато закуска дешева. А хотите сагу о банане? А лучше – несколько саг?

Сага первая: ностальгическая, советская, нищая, драматическая. Бананы стоили рубль сорок за килограмм – всегда и везде рубль сорок, десятилетия подряд. Но десятилетия – это если охватывать весь период, а конкретно – они бывали раз в год. Всегда в августе. Вот раз в год, в то время, когда птицы ставят птенцов на крыло и первые желтые листья появляются на деревьях – в гастрономах и на лотках появлялись бананы. Это продолжалось несколько дней. Словно в Союз приходил один гигантский банановоз. Нервные многослойные очереди выстраивались и ревниво прикидывали количество товара в раскладку на тех, кто стоит перед тобой: хватит ли. Я помню свои два банана семьдесят второго года: вторую неделю я работал грузчиком на Московской товарной в Питере, еще не втянулся, колени к концу смены дрожали, переворачивали по сорок тонн в смену в среднем, сдельщина, за тонну платили двадцать две копейки, я вышел с ночной смены и увидел бананы, отчаянно нищий, я знал, кого хочу хоть чем-то порадовать и побаловать, я стоял в очереди полтора часа, ненавидя очереди генетически, это была моя самая долгая в жизни очередь, а денег было пятьдесят копеек, и на них я сумел приобрести два банана среднего размера – я принес их гордо, как сейчас принес бы двухсотдолларовый коньяк и килограммовый берестяной бочоночек черной икры, сел на стул и заснул от усталости, а надо мной посмеялись, потому что на столе уже громоздилась желтая гроздь бананов в семь. А можно и веселую сагу: как в том же Копенгагене я покупал на обед банан и бутылку портера – портер я потом пил на лавочке через сигарету (через затяжку, если кто тупой вздумает понять буквально) и ловил кайф, а бананом сначала утолял голод, но жрать его публично как-то стеснялся, голодранец «туристо-совьетико», так я спускался в подземку, находил место на скамейке, раскрывал книгу и съедал его как бы незаметно от самого себя, ну как бы непринужденно так, от нечего делать, по рассеянности; а лавочки там в метро двухсторонние, и вот за спинкой, за своим затылком, я вдруг слышу: «Ну? Видишь, эти датчане тоже жрут везде свои бананы, а ты стеснялась. На!». Не в силах отказать себе в удовольствии, я обернулся, посмотрел на молодую нашу пару, делая «иностранное лицо» – они замедлились

в позе готовности к укусу своих бананов и напряглись – и успокоил по-русски: «Кушайте-кушайте, молодые люди, кефир очень полезен для здоровья!» – они еще секунд десять вспоминали, какие движения нужно сделать, чтобы наконец укусить бананы, и глаза у них были такие, словно по-русски заговорила непосредственно скамейка… но можно и третью сагу: о том, что в жаркую погоду нет лучшей закуски к плохому резкому коньяку, как именно банан, причем мягкий, чуть переспелый, он нежно обволакивает рот и смягчает резкость пойла… а сколько еще есть употреблений банана! а анекдоты? а закусить бананом как эвфемизм? алкоголь перед сексом и секс как последнее прибежище одиноких душ – роман! еще роман!

стр. 18

Одна из образцовых…

Шекспир, «Гамлет», «Весь мир тюрьма, и Дания – одна из образцовых», акт и сцену указывать незачем, перевод все равно чей, а значит это лишь то, что действие вовсе не от не фиг делать происходит в Дании, толстый намек на тонкие обстоятельства. Все мы, мол, торчим в тюрьме собственной судьбы, колпак папы Мюллера тебе заместо свободы, имя загран. замка – Эльсинор.

стр. 18

Александр Кабаков

А как можно (можно зачем) не посвятить отдельного романа Александру Абрамовичу Кабакову, писателю и человеку? Во-первых, бывший чемпион Украины по фехтованию. Во-вторых, стопроцентный стиляга шестидесятых, тонкий ценитель и знаток того стиля. В-третьих, не недоумок-гуманитар, а приличный инженер элитного технического института. В-четвертых, пьет как боевой конь и эту репутацию тактично культивирует. После первой выпивки при знакомстве в «Московских новостях» я отбомбился в лестничный пролет, как Б-25 с пикирования, а он всего лишь выпалил в форточку из газового кольта-«питон».

В-пятых, обладатель тяжелого бархатно-металлического баритона, от природы поставленного на зависть многим высокооплачиваемым теледикторам. Ироничный мачо.

стр. 18

«Сочинитель»

Его роман «Сочинитель», впервые опубликованный в 91-м году, был крут и чист, хотя не снискал такой славы, как «Невозвращенец» в 89-м. Оглушительный успех «Невозвращенца» сделал Кабакова, уже сорокашестилетнего, знаменитым в одночасье: классика бестселлера, попадание в центр десятки, бритвенный срез всех грядущих проблем зловещей эпохи перемен. При объеме всего в 50 страниц! За год он был переведен на 30 языков. Разбогатевший Кабаков нес свою славу с редкостным тактом и небрежной иронией, но одним из светских львов Москвы остался навсегда.

стр. 18

Случайно, стало быть, на ноже карманном…

Другого светского льва звали Александр Блок, естественно: «Случайно на ноже карманном найди пылинку дальних стран – и мир опять предстанет странным, окутанным в цветной туман». Это стояло эпиграфом. При первой публикации, в журнале «Знамя», меня мягко и вежливо попросили эпиграф снять. Зачем – я так и не понял. Может быть потому, что известные стихи Блока – это банально? Или Блок на тот момент был не в моде? И сейчас не знаю. Ну, снял. Убрал в текст. Так и переиздаю. По инерции. Вроде как Тернеру повесили пейзаж вверх ногами. Посмотрел он, хмыкнул и сказал: а и черт с ним, оставьте, так даже лучше. А первую строку цитировать не буду, и все стихотворение не буду: кому надо – сам помнит и понимает, что к чему, кто не помнит – и не надо, а захочет – пусть возьмет с полки Блока и перечтет: справка существует для разъяснения, а не для поощрения серости и лени. И так развелось плебеев выше крыши, и все норовят иметь литературное мнение, черпая его из масс-

медиа. И вечный бой, покой нам только снится, только скажет: прощай, воротись ко мне, и опять по траве колокольчик звенит…

стр. 18

Этот ножик…

И вызванивает роман о ноже – а какое хорошее название: «Роман о ноже»! Тот ножик я давно потерял – забыл в гостинице вместе еще с кучкой походно-хозяйственной мелочи. Честно говоря, толку с него было немного: пинцетик сломался.

зубочистка затупилась, пилить пилкой было нечего, а хилое маленькое лезвие разболталось. Такие ножички на распродаже в Нью-Йорке, как я позже увидел, стоят 99 центов (китайские, понятно, а не натуральные швейцарские). А вот другой нож, потерянный вместе с этим, был классный, и я долго искал замену. Он был куплен двадцать лет назад в обычном магазине города Могилева. За два рубля семнадцать копеек. Накладки ручки были из так себе синей пластмассы и изображали попугая – с длинным, чуть гнутым хвостом. А вот девяти с половиной сантиметровое лезвие имело толстую спинку, опускавшуюся и утончающуюся к острию под финку, и жало держало исключительно – я не точил его ни разу, используя для всего: с равной легкостью он рассекал свежую булку, стругал дерево и резал консервную жесть. Сталь-то была оружейникам понятная: рессорная, 65Г. Сделан он был цехом ширпотреба Могилевского завода ПТО – подъемно-транспортного оборудования, а завод принадлежал Министерству среднего машиностроения – то есть оборонного. Там делали ракетные тягачи. А ТУ (технические условия) на оборонных предприятиях выдерживали жестко, военпреды бдили, и эта твердая марганцевая сталь, прокованная пусть паровым, но кузнечным молотом, шла под клинки отменно. Нож имел хороший прочный фиксатор, отчетливым щелчком отмечавший постановку раскладного лезвия в рабочее положение. Позднее я узнал, что он в точности копировал испанскую наваху самого популярного размера, только рукоятки у тех делаются обычно деревянными с латунным хвостовиком. Я долго искал замену потере, пока не нашел такую, уже в конце девяностых, в оружейном магазине на Невском – за тридцать долларов. Если прибавить истории про фамильный офицерский кортик с императорским вензелем, принадлежавший еще моему прадеду; про огромный «выживальник» типа «рэмбо» с клином формы классического «боуи», который я волок через две границы; про копеечный кухонный, используемый в скотоперегоне и наточенный на камнях до бритвенности, который я возил в сапоге и, нарезая как-то для закуски жареное мясо прямо на собственной ляжке, в эту ляжку и всадил (алкогольная анестезия); про подаренный читателем в Бостоне натуральный «бак»… интересный мог бы выйти на любителя трактат о ножах и о том, что ими резалось, как, где и почему.

стр. 18

Довлатов

Но читателей, как естественно выяснилось, гораздо больше задело, как, где и почему упомянул я в этом скромном и кратком своем сочинении Довлатова. И это требует отдельного, отдельного объяснения. «Вы взялись играть на его территории, а ведь Довлатов уже классик», – предостерегла критик Наталья Иванова, замглавного журнала «Знамя», когда там взяли роман к публикации и, опять же с колес, вкатили в идущий номер: перед 8 Марта я привез рукопись – в июньском номере ее опубликовали.

А дело, стало быть, так было.

Много лет в голове у меня вертелись разные разности типа мыслей о литературе и окрестностях, подогреваемые нормальным желанием их высказать. Но собрать их до кучи в мемуар и озаглавить его «Жизнь и размышления» – что я, Бисмарк, что ли. Нормальный беллетрист стремится все свои материалы нанизать на нечто в роде сюжета. Нить мне нужна была, проволока для флажков, несущая конструкция для разнородных грузов. И практически не существовавшие, виртуально-паутинные отношения с другим писателем представились мне удобной, призрачно-вариабельной нитью для навески на нее всего на свете обо всем на свете. То

есть: Довлатов здесь – фигура совершенно условная, выполняющая служебную функцию: объединение мозаичного материала, собранного на ассоциативной основе. Только для этого мне нужны были упоминания о нем.

Еще Жозеф Ренан отметил: «Если среди трехсот слов на странице писатель один раз употребит слово „….", то читатель заметит только это слово». Так и произошло. Ренан был приличный филолог и понимал в психологии стиля. За небольшим исключением высоколобых (не по социальному статусу, а по высоте лба), читатели восприняли однозначно так, что это роман про Довлатова. Намерения автора при объективации результата никого не интересуют.

Озадаченный неожиданными отзывами автор взял в конце концов бумажку и карандаш и стал просчитывать собственное сочинение: какая часть его посвящена Довлатову и вообще содержит какие-либо упоминания о нем. Я пересчитал дважды, и у меня получилось 14,8%. Шесть седьмых текста и вовсе не имеют к этому вопросу никакого отношения. Вообще и категорически о другом.

Несколько внешних – и заочных – точек совпадения наших судеб носили случайный характер в жестко простроенной эпохе и не имели никакого значения ни для него, ни для меня. Только на посторонний и непосвященный взгляд они проецируются на одну плоскость и могут вызвать мысль о какой-то общности. Сотни людей писали и не печатались в Ленинграде, сотни тысяч русских жили в Таллине, массе народу свойственна ироничность речи.

Вот ироничность и сыграла здесь дурацкую шутку. На читательской встрече в Государственной библиотеке, бывшей Ленина, интеллигентная дама спросила: «А вам не страшно так саморазоблачаться перед читателем?» Не в лучшем свете, значит, вы сами себя выставляете. Я несколько растерялся и сумел ответить лишь в том духе, что отзываться в невыгодном свете о себе и в противовес в выгодном свете о другом – не более чем признак приличного тона и элементарного воспитания. Я всегда завистливо презирал умельцев, тактично и ненавязчиво ухитряющихся демонстрировать свою значительность и весомость в как бы нейтральных мелочах: плебейство! Надо быть доном Гарсиа, чтобы небрежно предложить Жуану, выкидывая на пирушку полугодовое содержание: «Если у вас нет лучших планов на вечер, не согласитесь ли скрасить мое одиночество и отведать сносного винца в одном заурядном кабачке», – и выкатить все лучшее и дорогое. Убедившись в наивном плебействе мэтра Котара, Вюрдерен по совету жены дарит ему на день рождения перстень с фальшивым бриллиантом – и всячески подчеркивает, что это крайне ценный подарок: одариваемый счастлив. Тоньше он не понимает. Сегодня мэтр Котар формирует общественное мнение. Я-то, балда, пребывал под влиянием той сентенции, что «Умение смеяться над собой – признак благородства. Серьезное восприятие самоиронии другого – признак душевной тупости».

Сколько-нибудь порядочный человек воздает должное оппоненту, морально возвышая его над собой. Воспринимать эту позицию в лоб за чистую монету – удел нравственно искалеченных. Я думаю так, сказал Винни-Пух.

Сотни отказных рецензий получил Довлатов в СССР. И только один рецензент, тогдашний салага-практикант, помянул это публично и покаянно. Хвороста ему подбросьте, святые души!

У успеха много отцов – и много публикаторов Довлатова в России с достойной скромностью отмечали свои заслуги. Я напечатал его действительно первым в еще СССР – сказав, что я здесь в общем и ни при чем, как единственно и может отозваться о себе не жлоб. А, ну так и ни при чем, сам говорит.

Честный человек отличается от фарисея тем, что говорит о мертвом как о живом – а фарисеям обычно говорить о живом, как о мертвом. Если кто для тебя что-то значил – ты всегда говоришь о нем, как о живом: но это непонятно приверженцам погребальных церемоний.

Это я ходил нищим по тем же ленинградским улицам. Я бился лбом в те же стены. И это я при вести об его смерти встал и выпил молча, а не ты, дарлинг. Тебе понятна лишь слава

мифа – и ты ревниво и болезненно оберегаешь один из мифов в своей голове: отклонения от мифа царапают нервные клетки в твоей голове, где этот миф хранится, а человека ты не знал и знать его тебе не хочется. Какая на хрен правда и ирония, не троньте мои представления о мире! Вы говорите не то, что полагаю я? – да вы просто считаете меня дураком, милейший! вы покушаетесь на мою умственную состоятельность! – вы злонамеренный хам! – – Вот нормальная реакция простодушного плебея, уважающего себя за умение читать.

«Хотите знать правду, какой она живет в моей душе?» – спросил старик Катаев, и читатель получил кристально чистое письмо «Алмазный мой венец». «Ну и говно же, оказывается, этот Катаев», – приговорил читатель. Его мало интересует правда – его волнует приросший к мозгу миф, разрывающий ум, как баобаб – крошечную планету. Если правда противоречит мифу – виноват носитель правды.

Того, кто обнаруживает изъян на портрете, обвиняют в том, что это он изъян и нанес. Пока не видели – вроде и не было. Издатель Захаров, руководствуясь движущей идеей бизнеса, издал переписку Довлатова с Ефимовым. Правовую сторону оставим на совести издателя и правоведов. Не об том спич. Довлатов предстает в своих письмах человеком усталым, грустным, едким, порой ядовитым и желчным, порой сомнительно справедливым – битым жизнью и не сильно здоровым и счастливым. Что же читательский приговор? Экая скотина Захаров, какую гадскую книгу издал. Нет чтобы: несчастье своей жизни автор писем носил в основном в себе, как обычно и бывает, и тяжело жил, и другим с ним несладко приходилось, и полно пятен на любом солнце, и не так-то все просто и однозначно. Фиг! «Как вы смеете показывать его с такой стороны!!! Ну и что, что сам писал эти письма – а показывать это публике – хамство».

Господи, как печально иногда жить среди дураков, уверенных в своем статусе умных…

Я люблю роскошь и живу в ней. «Мерседес» – это ведь просто качественная консервная банка с конвейера, доступная любому, кто хапнул бабок Думать правду и говорить правду – это роскошь штучная. Штучно признаюсь: я презираю быдло. Быдло – это не те, у кого жидко меблирован чердак. У каждого своя работа и свои представления о жизни. Быдло – это те, кто укомплектовал свои извилины заемными представлениями о том в частности, что есть культура, и белесой ненавистью ненавидят тех, кто смеет думать иначе. Быдло – это верхний срез массокульта, ревниво полагающий себя элитой и отрицающий возможность инакомыслящей элиты. Они думают, что любят Пушкина, но именно их Пушкин и называл чернью, а не крепостных без культуртрегерских амбиций. Быдло – это те, кто колеблется вместе с генеральной линией, пусть это не политическая, а общественно-эстетическая генеральная линия.

Я достаточно уверен в себе, чтоб любить над собой смеяться. Я достаточно презираю общественное мнение, чтобы не лгать ему. Достаточно, если поймут немногие. Достаточно, если один. Достаточно, если ни одного. Господь поймет, а остальные не важны.

Я пишу эту книгу для остальных. Ставлю такой опыт – единожды. Я намеренно и сознательно изобразил себя как бы проигравшим виртуальный и вымышленный поединок, которого не было. Я не ожидал такого эффекта, сознаюсь, – быть простодушно принятым за завистливого идиота, который подает эдакое всерьез. Я всего лишь живописал еще одни страдания неюного Вертера, уже написанные (отсыл на страницу назад к абзацу про Катаева).

Зная, что на том свете мы выпьем наконец с Довлатовым и посмеемся много над кем, злословя всласть, – мне будет чуть-чуть не так грустно умирать.

…Итак, итак: все это лишь к удобству «витой композиции» высказываний и оценок литературного и эмигрантского процессов эпохи распада СССР.

стр. 18

В таллинском журнале «Радуга»…

Перед агонией наступает оживление: именно этот период распада назывался «перестройкой».

Среди стремительно возникающих изданий появился и эстонский журнальчик «Vikerkaar» вместе со своим систер-шипом «Радуга» – она была на 60% переводом эстонского первородного брата, на 40% оригинально-самостоятельная: выходила с конца 86 года. Выходит и поныне – на госдотацию, тиражом в сто раз меньше, чем в апогее, что свойственно ныне всем постсоветским литературным журналам. Штук четыреста – а было под сорок тысяч. В № 1 за 89 год там впервые в СССР был опубликован Довлатов: рассказы «Марш одиноких» и «Поединок». Шлепнуть больше не дозволял объем, отведенный русской беллетристике.

стр. 18

Редакция была дамская…

А работали в нем Алла Каллас, Вера Прохорова, Татьяна Теппе, Марина Тервонен, Ирина Шарова – и по средам восседал в этом цветнике ваш покорный слуга, снедаемый жаждой сеять наиболее разумное и вечное из всего, что становилось возможным с каждым месяцем все свободнее. Весело жили!

стр. 18

…качества дешевых китайских товаров.

Духовное веселье, согласно одному из законов природы, сопровождалось стремительным материальным обнищанием: из магазинов исчезало решительно все! Чай, мыло, масло, сигареты – а там дошло и до хлеба. Ввели ведь карточки! – в ЖЭКах отрезали от простынь напечатанных талонов месячную норму покупок на продукты, но отоварить те талоны не шибко удавалось. Не забыли? Чудный сюжет эпохи: заходим с приятелем в бар хлопнуть по рюмке. Водки нет, коньяку тоже нет, и вина нет, а есть только напиток «Тархун» – зеленый, как зеленка, в бутылочках из-под пепси-колы, ядовитостью в сорок градусов. Нет орешков, нет бутербродов, нет конфет и шоколада, пирожных тоже нет; а слово «оливки» было тогда еще метафорой из древнегреческой истории. Зато есть мыло. Хорошее и даже знаменитое французское мыло «Пальмолив». Я до этого читал его название только в книге Белля «Город знакомых лиц». А мыла, естественно, тоже нигде не было. Берем мы по рюмке и еще хотим кусков по шесть мыла – мыться, впрок. Э, не, говорит барменша. Мыло только по одному куску на руки. И только тем, кто берет выпить. Дала по куску к рюмке. Хватили мы «Тархуна»: логично, только мылом его и закусывать. Засмолили сигареткой. Берем еще по пятьдесят – и два куска мыла. Когда мы в четвертый раз огласили заказ: два по пятьдесят и два мыла – с барменшей сделались колики – хорошо закусывают мужики! Естественно, в атмосфере этого позднесоветского изобилия все заграничное представлялось еще лучшим, чем раньше. А старый, 60-х годов, китайский импорт помнился: качество было вечным, хлопок – неснашиваемым, термоса – герметичными, авторучки – действительно самопишущими. Так что марка «Made in China» выглядела на наш взгляд очень надежно и даже респектабельно. А еще немного, еще чуть-чуть – и повезли народившиеся «челноки» одноразовые кроссовки и саморазваливающиеся игрушки. Шагающие в ногу с переменами китайцы правильно поняли рыночную конъюнктуру и дали партнеру именно то качество, которое он согласился потреблять.

стр. 18

…воробья, истребленного рисоводческим кооперативом.

А как мы когда-то любили китайцев!

В конце 50-х, период отчаянной советско-китайской дружбы навек, наша пресса под фанфары превозносила успехи китайцев во всенародной борьбе за подъем и расцвет всенародного хозяйства, воспевала «Большой Скачок», когда чугун предписали плавить в каждом деревенском дворе по старофольклорной технологии (потом эти шедевры металлургии меланхолично зарывали в могильники, пока не купили технологию переплавки), и в числе прочих коммунистических достижений великого восточного соседа журналисты восторгались массовой борьбой с воробьями, чтоб эти суки не расклевывали народный рис с народных полей: и публиковали выкладки, какие это горы центнеров и тонн расхищают птицы, и сколько трудя-

щихся можно прокормить заместо бесполезных пернатых. Выбирая между китайцем и воробьем, мы безоговорочно поддерживали китайцев; а движения «зеленых» тогда еще не было, хватало и желтых выше крыши. Еще не факт, что китайцев в Китае намного меньше, чем воробьев, и воюя с ними за свою пайку риса, они их гоняли (китайцы – воробьев), не давая сесть, пока не выдержавшие такого социадиетического соревнования в выносливости птички не падали на землю обессиленными, без поддержки коммунистической идеологии, поддерживавшей их врагов: тут-то их и приканчивали (китайцы – воробьев). «Пионерская правда», тотальная подростковая газета той эпохи, была полна очерков типа следующего: «Пионер Ван Ли-чуй, желая участвовать в борьбе всего народа с вредителями, изготовил из побега бамбука лук, сам выстругал стрелы и стал тренироваться в меткости стрельбы, пока не научился без промаха попадать за двадцать шагов в маленькую дырочку в стене (нет, каков фрейдизм!). Тогда он приступил к планомерной охоте на воробьев, которой пионер посвящал все свободное от учебы в школе время. Вскоре Ван Ли-чуй уничтожил уже двести вредителей, и удостоился за это награды – Районный комитет пионерской организации отметил его инициативу Почетной грамотой. А когда счет юного снайпера достиг тысячи, правление кооператива премировало его мелкокалиберной винтовкой. Первого октября Ван Ли-чуй отправился в город и на деньги, заработанные на полевых работах, где он помогал взрослым выращивать рис, купил двадцать патронов. На обратном пути домой юный пионер убил еще двадцать воробьев». Драмы судеб и изломы эпохи громоздятся за каждой подобной деталью.

стр. 18

…скудоумных итальянцев с примитивом их линейно-геометрической перспективы.

И если давать все эти детали в нормальном соотношении, то нормальный объем повествования разлезется на многие сотни страниц. На самом деле, конечно и общеизвестно, что изобретение и применение итальянскими художниками Ренессанса той перспективы, которая нам теперь кажется фотографически естественной и единственно «нормальней», было открытием, революцией, гениальным актом. Однако «итальянская» перспектива – лишь одна из многих существующих и возможных. Шутливо-уничижительный отзыв о ней – отражает в данном случае пренебрежение к «традиционной», «обычной и ясной» перспективе, то бишь композиции, в которой подается являемый материал в художественном произведении. Шкатулочно-витая, «компакт-эссенцированная» композиция, она же по сути перспектива времен и взглядов, в данном тексте позволяет скомпоновать вещь гораздо более емко и многозначно.

стр. 19

…«Собака на сене».

Взять хоть знаменитую пьесу Лопе де Вега. Разумеется, она не имеет никакого отношения к переделу территорий, обыгрывается лишь суть присловья, легшего в ее заголовок. Но телеверсия пьесы, созданная в СССР в конце семидесятых (парад звезд и песни Боярского), стала одним из культовых явлений и еще одной приметой эпохи.

стр. 19

…я жил на китайской границе…

А за две эпохи до нее (сколько эпох я уже успел пережить!..), до застоя и до шестидесятых, отец служил в Забайкалье, на Маньчжурке, в самом уголке карты. Офицерская семья, гарнизонная жизнь: Борзя, Датсан, Ха-дабулак. Роман, ностальгический роман! Степь, сопки, песок, солнце: триста сорок солнечных дней в году. Плюс сорок днем в июле, минус сорок пять ночью в январе. Самая холодная сводка была – минус пятьдесят два. Холоднее сорока до четвертого класса не ходили в школу, но иногда ходили – а то неделями бы пришлось дома сидеть, а директор был суров, одноног, грозен, хотя и добр, Александр Павлович, инвалид войны, фиг его забудешь, до седьмого класса по приказу стриглись под ноль, «деревенские» дрались с «офицериками» после уроков, зимы бывали бесснежными, поверх мерзлого песка зимние бураны секли пылью, носили на улице защитные очки – токарные, типа старинных

авиационных «консервов»: дерматиновая маскарадная маска с квадратными складными стеклами панорамой; два часа летом езды на велосипеде до стыка китайской и монгольской границ, граница полуусловна: поросшая степной травой шестиметровая КСП (пропаханная контрольно-следовая полоса), за ней – километра полтора нейтральной земли, весной и осенью на бесчисленных озерцах отдыхали и подкармливались с полей перелетные гуси, охота была знатная, десятками с пары-тройки зорек привозили – мясо плотное, без жира, незабываемый вкус дичи, клали на ледник и ели потом месяцами, жратва-то была скудная, для витаминов детей кормили сырой картошкой, офицеров-то выручал северный армейский паек, а местное население глодало что придется, до конца пятидесятых многие в землянках жили, места-то безлесные, к Новому году посылали из полка машину за триста километров на север, в прибайкальскую тайгу, и раздавали по семьям сосны – я долго был уверен, что сосна и есть елка, а короткие иголки в книжках рисуют для красоты; зимой на базаре продавалось мороженое молоко – замораживалось огромными желтоватыми бубликами в чуде – кто помнит, что такое «чудо»? такой алюминиевый полый тор литра в два емкостью, в нем все пекли тогда бисквитные торты; когда в конце пятидесятых заасфальтировали первую в Борзе улицу (Ленина, разумеется, а параллельная называлась Лазоборзинская – кто еще помнит Сергея Лазо, паровозную топку и японских интервентов в 20-м году?) – как асфальтируют дорогу, только однорядную ленту проезжей части, то буряты приезжали из стойбищ верхом – посмотреть на асфальт, который видели только некоторые – в кинохронике. Из деревьев росли американский тополь и акация – их после войны сажали солдаты в гарнизонах, никакие другие деревья не выживали: умели и мы делать оазисы в пустынях, а это ведь край Гоби, пустыня что надо. А невдалеке, в Чинданте, стоял аэродром стратегической авиации, и бомберы Ил-28, первые советские фронтовые реактивные бомбардировщики, заходили на посадку над головами, от рева стекла прогибались, а гигантские, жутко-прекрасные М-3 плыли тише, и раз в полгода кто-нибудь из них бился, столкнувшись с танкером при дозаправке в воздухе, не любили летчики машину Мясищева, но нужна была срочно под межконтинентальные перелеты и водородную бомбу, по центральной улице под военный оркестр полз затянутый кумачом грузовик, и фуражка с крылышками лежала на крышке всегда закрытого гроба летчика. Все офицеры старше тридцати отвоевали, все были готовы к войне, а на китайцев наши отцы в разговорах за бутылкой надеялись как на союзников без подвоха.

стр. 19

…называлась тогда Отпор!

Пограничная с Китаем станция Отпор получила свое название в 38-м году: «малая японская война», уже великая дружба и сотрудничество с Китаем против Японии, взлет генерала Жукова, командировки и стихи юного Константина Симонова. «Гремя огнем, сверкая блеском стали рванут машины в яростный поход, когда нас в бой пошлет товарищ Сталин и первый маршал в бой нас поведет!». Крючков, Алейников, Андреев, Бернес – кумиры страны, танкисты и истребители. И вот раз летом пошли мы с пацанами «на ДОТы» – старый укрепрайон, оставленный в 45-м при наступлении, километров двенадцать по степи, жара, дух раскаленных трав, пот тут же засыхает на коже – пришли: пятиметровые противотанковые рвы, бетонные точки в углах его изломов, врытые в холмики колпаки – а тонная броневая дверь отъезжает на роликах мягко, пулеметные турели ходят перед амбразурами все в смазке, и красной краской по цементу: «Капитальный ремонт 1960 года». Ни хрена себе. Мы еще дружим, а оно уже керосином пахнет. К 1966-му году отношения с Китаем напряглись так, что название «Отпор» на границе с ним стало звучать провокационно, как бы предвосхищая военные действия; ну и переименовали.

стр. 19

…борьба с мухами…

Мы-то все еще думали, малолетки, что китайцы покушаются только с мухами воевать, поднаторев на воробьях, которые, видимо, кончились: мухобойство было также возведено в ранг государственной кампании и освещалось нашей прессой как дело чести, доблести и геройства, как активное социалистическое преобразование действительности – для счастья и удобства прогрессивного человечества. А они уже клеймили советских ревизионистов, договаривающихся с американцами и не дающих братскому Китаю обещанную Сталиным атомную бомбу: архивы все еще засекречены.

стр. 19

…гоминдановцами.

А ихние разгромленные победоносной 8-й НОА – Народно-освободительной армией Китая – гоминдановцы представлялись нам тогда вроде гитлеровцев, а сам Го Минь-дан – империалистическим реакционным генералом фашистского толка, воевавшим за капиталистов против трудового народа. Позже, в изумлению, оказалось, что гоминьдан – это демократическая социалистическая партия, и основал ее в 1912 году великий революционер Сун Ятсен, демократический преобразователь Китая и большой друг советского народа. Когда в тридцатые годы Союз дрался с Японией на китайской территории за гегемонию в регионе, лидер страны и партии гоминьдан маршал Чан Кай-ши был лепшим нашим корешем и союзником, и всем он был нам хорош и угоден. А вот когда после Второй Мировой мы поставили на приход к власти коммунистов в Китае, демократическую гоминьдан предали анафеме. Страсти кипели какие! «Москва – Пекин! Братья навек!» – торжественно гремела гимнообразная песня под сводами Ярославского вокзала в Москве, когда поезд № 1 (!) – курьерский «Москва-Пекин» – торжественно трогался от перрона! И комфорт на нем был что надо, и обслуга вышколена, и вагон международного класса в составе (синий бархат, душ-туалет между купе-двойками), настольные лампы и пепельницы в купе, попутчики за неделю путешествия делались старыми друзьями, каждый день на час переводили стрелки часов – шесть часовых поясов до Читы, а километровый столб на станции Борзя показывал 6541 километр от Москвы; авиация еще только вставала на крыло, поезд был домом родным; а в вагоне-ресторане китайцы брали порцию лапши на столик и ели палочками вчетвером.

стр. 19

«Смелый, как тигр».

На них смотрели с сочувствием, уважением, любопытством: экзотика, бедность, другая культура, одеты чистенько, а едят мало и из одной миски. А трудолюбивы и геройски храбры! В упомянутом китайском военно-патриотическом боевике Народно-освободительная армия геройски била подлых японских оккупантов, превосходящих китайцев в живой силе (!) и вооружении. Главный герой проходил светлый путь от деревенского мальчика до командира подразделения. Он совершал массу подвигов по восходящей, и в конце – катарсис! – погибал смертью храбрых, взрывая дот с японскими пулеметчиками. Дот, я твердо помню, для удобства подвига был сконструирован режиссером вроде небольшого дугообразного кирпичного мостика-арки: толщина арки была как раз такова, чтобы внутри, трусливо пригнувшись, помещались японские пулеметчики, а высота от земли – метра два, чтобы герой в полный рост стоял в свой звездный миг с победно и гордо поднятыми руками, прижимая к нижнему своду дота-арки пакет с толом. Ка-ак дрызнуло! И наши победили. Александр Матросов в китайском варианте: старший советский брат подавал пример и в эстетике. Мы с пацанами еще обсуждали, почему нельзя было какой-нибудь жердью подпереть эту взрывчатку и смыться в сторону, тем более что бикфордов шнур горел долго, чтоб все бойцы и зрители смогли прочувствовать, какой сейчас будет подвиг. Что же касается мисочки лапши на четверых – незабываема была хозяйственно-отчетная церемония после первого боя (она подразумевалась и после других боев): общее собрание роты, каждый боец встает по очереди и докладывает командиру роты о расходе средств и эффективности их использования: «Четыре

раза выстрелил из винтовки. Бросил одну гранату. Убил шестерых оккупантов. Один раз, к сожалению, промахнулся. – Ничего. Бывает. Неплохо! Садись. Следующий!». То есть во всем китайцы были стеснены, экономны, рачительны, умелы. Фильмов тогда было мало, крутили их по многу раз, а уж особенно в районных клубах и гарнизонных Домах офицеров (ДОСА – Дом офицеров Советской Армии): там репертуар был специфический, вдохновляющий, геройский. На ограниченности кинофонда основывалась тогдашняя детская (подростковая) игра «колечко»: водящий загадывал – и по первым буквам надо было отгадать название фильма. («НТ»! – «Над Тис-сой». «ОЭЗН»! – «Об этом забывать нельзя».) Но что интересно, что характерно: искусство дублирования кинофильмов достигло в СССР высот необычайных, совпадение русских слов с иностранной артикуляцией было буквально полным, этим подрабатывали блестящие актеры (ролей-то и заработков не хватало), и были режиссеры – асы дубляжа; так вот, в китайских фильмах герои говорили омерзительно фальшивыми ханжескими голосами с неестественной псевдовосточной интонацией. Французы, испанцы, – все изъяснялись кристальным языком МХАТа, разве что фашисты начинали лепить с пародийным немецким акцентом по-русски, даже беседуя между собой; ну и татаро-монголы туда же – прекрасен хан, ведущий совет в юрте по-русски с татарским акцентом. Так они являли свою гнусную национальную и политическую сущность. И только китайцы поголовно, даже самые положительные, щебетали неестественно сладкими и гнусавыми фальцетами, как обдолбанные кастраты на комиссии партийного контроля, и их немедленно хотелось приложить плоскими лицами об что-нибудь. Говорили: фильмы есть хорошие, плохие, студии Довженко и китайские. Я и сейчас могу объяснить данный феномен только ненавистью дублеров к этим фильмам и их вредительской (подсознательной?) издевкой, над собственными речами. (Такое впечатление, что сейчас эти дублеры переселились в бразильские сериалы, сохранив те же интонации для псевдопортугальского хнычущего и сюсюкающего акцента.)

стр. 19

Двадцатизарядный маузер Ли Ван-чуня не могло заклинить.

При этом стилистика речей сохранилась неизменно патетической! Взять хоть этого маузериста (было такое слово): фраза означала, что прекращение стрельбы героем, всегда содержавшим в идеальном порядке свое безупречно надежное оружие, могло произойти только с его смертью в неравной и самоотверженной борьбе. Цитата эта из детской книги (как тогда писали, «для среднего школьного возраста») китайского писателя-коммуниста Ци Хуаня «Ребята из деревни Селюшуй», китайский вариант «Красных дьяволят». Как и все последующие в тексте, цитата не закавычена; обилие цитат, всаженных в текст как нагруженные элементы конструкции, вроде бревен в галльской кладке, идет не от провинциальной болезни образованщины, но оттеночно уподобляет текст центону: когда оригинальность и новизна рассматриваются скорее как отрицательные характеристики, в то время как освященностъ устоявшимися авторитетами придает произведению большую весомость – составление новых произведений из отрывков наиболее известных и живших ранее авторов являлось едва ли не господствующим методом в литературе поздней античности, т. е. в период упадка и декаданса. Еще один мотив пародии на всю современную культуру.

стр. 19

…практикант в журнале «Нева»…

Живьем я в эту действующую культуру впервые воткнулся в мае 1971-го года, выхлопотав себе в деканате журнальную практику вместо музейной, что иногда допускалось для филологов-русистов, специализировавшихся по современной советской литературе. Вот двадцатидвухлетним студентом четвертого курса я и явился с улицы в «Неву», где был немало лишен идеологической и литературной девственности: первый опыт жизнерадостного и едкого журналистского цинизма может травмировать на всю жизнь. Трепеща и внемля старшим товарищам, я разевал рот! Что они туда вкладывали? Что хотели.

стр. 19

Владимир Николаевич Кривцов

Кривцов (1914-1975, филолог-китаист, большую часть сознательной жизни прослужил офицером в политорганах – эпоха!.. – член Ленинградской писательской организации, приличный мужик был) был еще сдержанно-бережен с ранимым юным дарованием. Второй и тогда последний сотрудник данного отдела прозы явился куда многограннее, изощреннее: это разговор особый. Прошла треть века – можно раскрыть страшный секрет: я его выдумал!.. Теперь уже и самому не верится…

стр. 19

Самуил Аронович Лурье

Сага, сага! Роман, роман! По порядку. Имея склонность к фантазированию, как почти все пишущие и многие не пишущие, я стал себе измысливать руководителя, куратора-наставника своей вожделенной журнальной (действующая литература!) практики. Разумеется, он должен быть мужчина. Теперь – возраст. Уже опытный, не молод – но, скорее, в возрасте мужского расцвета. Чуть за тридцать – представлялось тогда мне из неполного двадцатитрехлетия. И я определил ему на восемь лет больше, чем себе – разница в восемь лет у нас была с младшим братом. Как бы это по возрасту был мой совершенно взрослый старший брат. Национальность? Скорее всего еврей – их больше бьют, им приходится в среднем больше и горше задумываться о жизни. Высокий, худощавый, жилистый, может много выпить. Но чтоб не выглядел плакатным суперменом – наденем ему очки. Ну, и лысину для полноты образа. Образован, ироничен, хорошо говорит, голос ему получше – не вовсе левитановский, мороз по коже нам не нужен, но чтоб такой низкий приятный баритон. Шикарный образ получился! Имя. Хорошее, простое, русское – а на самом деле, по паспорту, сугубо еврейское, библейское, имя пророка залудить такое. Произносим Саша – пишем Самуил.

Вот так я населил отдел прозы «Невы» Самуилом Ароновичем Лурье и придумал ему биографию. Пигмалион, Франкенштейн, родильная горячка, «Я тебя слепила из того, что было, а потом что было – то и полюбила». Я ввел любимого в историю!

И вот всю жизнь он проработал в «Неве», слывя большим либералом, эрудитом и очень тонким высокообразованным редактором. Филолог-русист моего же университета, хотя уж правильнее сегодня сказать – президентского, путинского. Изящнейший скептик и блестящий оратор камерного масштабе. Блестящий критик. Пятнадцать лет писал биографию другого критика, Писарева. Первую главу я читал на практике. Последнюю – в годы перестройки. Дойдя до смутно знакомой фразы «Никогда еще ему не работалось так хорошо, как в эти месяцы», подумал о разном не в положительном смысле.

Любимец прилитературных дам. Директор-наставник школы злословия, если бы таковая была оформлена. Храбр и стоек в литературных скандалах, как-то образующихся вокруг и по соседству. Во время очередной схватки тогдашний главный редактор «Невы», Дмитрий Терентьевич Хренков (ветеран партии, благородная седина над костюмом цвета семги, член правления пис. организации, полутяжелая весовая категория, бывший директор номенклатурного издательства «Лениздат»), на общем собрании вознегодовал с угрозой: «Я думаю, что вам, Самуил Аронович, в редакции не место!» И немедленно получил ответ беспартийного редактора: «А это мы еще посмотрим, Дмитрий Терентьевич, кто из нас останется в редакции». И? Дмитрия Терентьевича увезли с инфарктом и проводили на пенсию. Браво первая валторна.

В самые глухие застойные времена, когда КГБ уже не охотился на ведьм по причине их полной переловленности с большим запасом, но пискнувшую мышь подвергал уголовному суду за антисоветские высказывания – Лурье оставался бесшабашно и эпатирующе храбр в речах: вплоть до сделанного мне однажды в редакционном коридоре предложения вступить в борьбу «со страшным аппаратом КГБ». Я попятился и открестился с ужасом: то, что сходит с рук Иове – не положено корове. И ничего ему за это не было! И на работе – идеологической, в

толстом журнале! – его продолжали держать. Уж не знаю, какой тут нужен запас везения – на двадцать-то лет. Зная дежурные приемы работы Пятого Управления КГБ, некоторые пускались на этот счет в сумрачные размышления о причине непотопляемости.

Характерно и другое: никто из вышедших из Ленинграда писателей, вошедших позднее в славу – Токарева, Битов, Толстая, Кураев – отдел прозы «Невы» не прошел, хотя печатал этот свободомыслящий отдел массу разного, чего сейчас почти невозможно вспомнить.

Эмигрировавший позднее в Швейцарию ленинградский писатель Юрий Гальперин еще в семидесятые утверждал, что Лурье – фигура неоднозначная, в душе болезненно ревнив и с годами все более завистлив ко всему талантливому, а при чужом успехе заболевает разлитием желчи. Думаю, он просто злословил, тем более в компании и за бутылкой. Также съехавший окололитературец Миша Лемхин и не такое рассказывал, но нигде не клевещут больше, чем в окололитературных кругах.

Факт же в том, что когда меня вышибали с пятого курса за разнообразные безразмерные прогулы и идеологические высказывания, именно Лурье надел серый выходной костюмчик и отправился на филфак утрясать мой вопрос со старыми приятелями-однокашниками, немало приложив руку к тому, что меня оставили.

Более того: когда отдел прозы получил третью ставку – Лурье хлопотал, чтобы взяли меня. Хотя в то время еврей, беспартийный, разведенный, без прописки, без опыта редакторской работы – на это место не мог быть принят в страшном сне, и мы оба это понимали, то есть даже я понимал,– все равно демонстрация хорошего отношения была очень приятна. Я не верю тем, кто кривится и фыркает, что демонстрация хорошего отношения при гарантированном отсутствии результата – это лишь безопасный способ показать собственную хорошесть. Каждый делает что может. . Пятнадцать лет Лурье быстро прочитывал и неукоснительно рекомендовал начальству к публикации почти все мои рассказы, приносимые в «Неву». И все они отвергались. Позднее я увидел, что в те времена они и не могли быть там опубликованы. И лишь редкие рассказы Лурье отвергал. Позднее мне показалось, что именно эти были в принципе «проходными». Но кому виднее – опытному редактору или неопытному автору?..

Лишь в 88-м году «Нева» приняла мой рассказ: уже было все можно. Лурье в этот момент был в отпуске, рассказ принял и получил одобрение главного сидевший тогда зав-прозой Коля Коняев. Когда я радостно поделился счастьем с вернувшимся Лурье и робко спросил, на какой номер рассказ планируется (все знали ведь, что я был «его автор», лурьевский, то есть), Саша улыбнулся мудро и устало, и сказал, что передо мной в очереди на публикацию еще тридцать девять рассказов (за цифру отвечаю – так же, впрочем, как и за все остальное), так что раньше чем через пару лет ждать не приходится. Я недостойно забормотал о пятнадцати годах ожидания и попыток, и как же насчет моральных прав… Сбивчивое бормотание последствий не имело. Через полтора года, когда Лурье был опять же в отъезде, рассказ поставил в номер Коля Коняев сам, а пускал второй редактор отдела, Ваня Рак.

И если прежние, отвергаемые начальством, рассказы Лурье хвалил, то про этот не сказал ничего. Назывался он «Узкоколейка», потом за него пару каких-то премий дали.

Рано умерший переводчик Игорь Бабанов, умница, эрудит и добряк, как-то предостерег: «Учтите, Миша, что у Саши бывает иногда такое: он бьется за какого-то автора, пока его не печатают, а вот когда вещь берут – он вдруг начинает биться против, утверждая, что у талантливого автора есть действительно хорошие вещи, а именно эта – неудачна, и ее-то публиковать и не стоит». А в те времена пробить публикацию в толстом журнале – о, это было событие, почти вхождение в клан, знак качества: сам факт имел огромное значение для того, кого не печатали там прежде.

Наша крепкая мужская дружба кончилась в один день. Я даже помню когда: в марте 94-го года. Дня вот не назову. Я зашел к Лурье в редакцию и подарил первое издание «Легенд Невского проспекта» – таллинский раритет тиражом 500 штук. Присовокупив, что если что-нибудь

из этих рассказов, абсолютно неизвестных в России, да в общем и нигде, может быть напечатано в «Неве», так это было бы замечательно, хорошо бы, как бы я был рад. Выслушал в ответ дружеские заверения. А потом Лурье показал мне свежий номер «Московских новостей»: там про меня какая-то херня. Я грустно взял какую-то херню и прочитал категорически хвалебную рецензию Дмитрия Быкова на «Приключения майора Звягина»: они вышли недавно первым московским стотысячником и в рейтинге «Книжного обозрения» держались в топ-десятке. Я сказал, понятно, что рецензия мне показалась вполне неплохой, чего уж. «Молодой он еще, этот Быков, мудачок», – с отеческой усмешкой пояснил Лурье. Больше я Чапаева не видел. Лишь пара случайных пересечений на публике. «Галл боится взглянуть в глаза германцу», – писал Цезарь. И сердце мое переполняется печалью.

стр. 19

…ах Джон, а ты совсем не изменился.

И единственно в попытке как-то развеять эту печаль хоть на минуту, вспомнил я старинный ковбойский анекдот: заходит Джон в бар, а за стойкой сидит Билл и читает «Физику» Перышкина. Чего ты, спрашивает Джон, это, ну, читаешь? Физику. А это про чего? А это сейчас вот как раз про круговорот веществ в природе. А это как? А это молекулы любого вещества… Погоди, погоди! Ты давай по-простому, чтоб понятно. О'кей, Джон, могу понятно. Вот напьешься ты опять в баре, затеешь драку, проломишь кому-нибудь голову, и в конце концов тебя вздернут. Потом снимут из петли, зароют. Сгниешь ты в земле, травка из тебя вырастет. Корова будет пастись, съест эту травку, переварит, и лепешек навалит тут же. Пойду я по своим делам, влезу сапогом в это дерьмо, посмотрю и скажу: «Ах Джон, а ты совсем не изменился!»

стр. 20

Авдотья Панаева

Вы помните, кого Данте поместил в девятый круг Ада? Предателей. За что карала в первую очередь «Яса» Чингиза? За предательство доверившегося тебе. Так что там про Авдотью? А вот ничего плохого Панаев ей не сделал, когда стала с Некрасовым жить. Или жене не доверялся, или спанье-житье от живого мужа с другим за предательство не счел, или взгляды человек имел широкие и любовь к великой русской литературе безмерную… но о чем я? О ком я? При чем тут Авдотья? Нить Ариадны путается в клубок, ободранный склеротический кот загоняет его под книжный шкаф, в отряхнутой из книг пыли выдуманный мною Лурье предает выдуманную некрасоведами Авдотью, Панаев спонсирует житье Володи с Лилей и Осей, а книга эта выпущена в 1929 году «Издательством политкаторжан и ссыльных поселенцев» и почему-то помнится написанной с предвосхищением стиля французского «нового романа», там Некрасов домогается Авдотьи с пронзительной наглостью, катает на лодке по Неве и швыряет весла в воду при отказе отдаться ему, следом готовится прыгнуть сам, она вынуждена спасти славу русской литературы, Коля не умеет плавать (а не дерьмо был парень!), хотя и рос на Волге – чем можно заниматься на Волге, не умея плавать? – видимо, писать стихи: «Выдь на Волгу – чей стон раздается?» – на Неве раздался стон Авдотьи, вокруг Некрасова раздавалось много стонов, даже Тургенев стонал, когда Некрасов проигрывал его гонорар во Владимирском игорном клобе – Игорь Владимиров позднее был в этом здании главным режиссером театра им. Ленсовета, а справедливее бы им. Некрасова, а уж история с модисткой, дважды пущенной юным темпераментным Некрасовым по ветру – второй раз уже тогда, когда бывшая модистка сумела встать на ноги и стала гувернанткой, – чего стоит одна эта история: политкаторжане и ссыльные поселенцы были мстительны в своем издательстве, вот только даты рождения Авдотьи все равно не знали, ее установила с точностью (а не только 1820-1893), раскопав церковно-приходскую книгу, моя однокашница Таня Башта на той музейной практике, от которой я увильнул в «Неву», и сделала по находке курсовую, потом диплом, потом кандидатскую, и лишь быт помешал сделать докторскую. Приятно было бы узнать Панаеву, что по его

жене пишут диссертации – все-таки он был не только писатель и журналист, но и ее законный муж.

стр. 20

Панаев Иван Иванович (1812-1862)

Закономерно и горестно он заболел и умер всего пятидесяти лет от роду непосредственно после того, как Некрасов разошелся с Авдотьей (найдите портрет – красивая и сексапильная была баба), а заодно и с ним. Мавр делал свое дело – и сделал…

стр. 20

…их функции…

Они питали своими соками Некрасова, а Некрасов делал журнал «Современник»: читал рукописи, отбирал для журнала, снабжал пометками и с типографским курьером отправлял на извозчике в типографию. А там метранпаж – о, это был и начальник производственного отдела, и макетчик, и ответственный секретарь, и выпускающий редактор! – наборщики, корректоры и печатники были у него в руке, – там метранпаж доводил рукописи до ума и отправлял тираж журнала Некрасову. Так вот тогда журнал издавался: всего и хлопот.

стр. 20

…внутреннюю рецензию, из расчета три рубля за авторский лист…

Но мы усовершенствовали процесс и научились выкручивать кисоньку-лапочку до последней капельки портвешку. Ежели все коровы казенные – так надо доить их до тех пор, пока бока между собой не слипнуться. Так же доили и журналы, вымогая у отделов культуры КПСС, которые все это курировали, еще денег, категорически необходимых для поддержания творческого процесса на нужном идеологическом уровне. Итак:

Назначался журналу ежемесячный рецензионный фонд. Предположим, пятьсот рублей (бывало по-разному, от калибра журнала зависело) или полторы тысячи. И подбирались редакцией «свои люди», которым надо было дать подработать – потому что сами штатные редакторы рецензировали за зарплату, по долгу службы.

Авторский лист – это было примерно 23 страницы машинописи, 40 000 знаков, включая пробелы между словами. И если тебе дали на «внутреннюю» (то есть напечатана не будет, это ответ автору и для сведения руководству) рецензию рассказ в 23 страницы, то платили за такую рецензию 3 рубля – если ты не маститый, не член Союза писателей: это нижняя ставка. Писать страниц пять рецензии – за треху это не слишком много. Да? Стоп:

Тебе могли дать рукописей объемом не 1 авт. лист, а 30 авт. листов. Чуете? Это уже 90 рублей. А объем рецензии? Ну, можно 10 страниц, уж этого точно хватит. Итак: один день быстро читаем этот роман, еще один – пишем эти 10 страниц, облегчая себе труд обильным цитированием текста, который и рецензируем. Два дня – месячная зарплата некоторых, а уж двухнедельная – точно. Как, неплохо?

А если вы член Союза писателей или журналистов – вам должны дать ставку 5 рублей за авт. лист рецензируемой рукописи. Это уже можно за выходные срубить месячную зарплату: два дня – и с карманом. Неплохо?

А маститому, члену правления и всяких редколлегий, могли дать и 10 рубчиков за лист! И 300 за десять листов! Но эта делалось не слишком часто – рецензионный фонд сразу выбирался. Делили между маститыми и простыми в пропорциях: первые получали много денег, вторые нагоняли объем отрецензированных рукописей для отчетов и ревизий.

А цимес в том, что сама рецензия на сорок листов рукописи могла иметь объем три страницы. Объем рецензии нормативными актами не оговаривался. Так что главное было – получить рукопись на рецензию, а уж отписаться – это формальность. Читаем по диагонали, выхватываем цитаты, навертываем закругленные казенные фразы, и в гонорарный день идем в кассу. Тертые рецензенты к тому и стремились.

Категорий рецензентов было две. Одни – чистые «внештатники»: имели какое-то прилитературное образование, журналисты, неимущие писатели – они стремились дружить с редакторами, мелькать, быть «своими». А другие – сами редакторы, которые рецензировали рукописи крест-накрест с другой редакцией: ты мне – я тебе, и оба мы вне штата для редакции товарища. Законный приработок.

Умелый рецензент зарабатывал свой стольник за вечер: 20 листов (450 стр.) перелистываем за час-полтора, и еще полтора часа колотим страниц 5-6. Ну как же не плакать сотрудникам толстых журналов по этой эпохе?

стр. 20

Попов, Александр Федорович (1906-1978)

Дожил бы Попов до наших времен, и он бы плакал, и был бы неокоммунистом, и говорил бы об уничтожении русской культуры. Он ведь был и кинодраматург, и секретарь Ленинградской организации Союза писателей СССР, и лауреат Государственной премии, и орденоносец. И главное – редкостный мудак, так что в новые времена вписаться ему было бы трудно. Однако любой человек имеет положительные черты и заслуживает какого-то уважения, поэтому я отзываюсь о покойном в точности так, как отзывался о живом, считая иное унизительным для его памяти. Они все живы в нашей памяти!

стр. 21

Хемингуэй, Эрнест Миллер (1899-1961)

Хотя и с памятью происходят трансформации. Уже нелегко восстановить, а новые поколения и не поймут, какую огромную роль сыграл Хемингуэй в становлении всей советской культуры шестидесятых. Вот это был действительно культовый писатель – портрет в каждом втором доме! Символ мужества и честности, суровой простоты, стойкости, противостояния ударам трагического и жестокого мира… о! После его «голого» письма казалось смешным и невозможным наворачивать кружева и красивости стиля. А его войны! охоты! бокс! ловля большой рыбы! бой быков! Это был один из мифов-атлантов, поддерживавших свод нашей новой культуры, влияние его было колоссально, сейчас и сравнить не с кем: он влиял не на стиль письма – но больше: на стиль разговора, стиль скрывания трепетных чувств за грубоватыми незначащими фразами, стиль стоицизма под ударами жизни, стиль жизни «мачо», хотя такого слова тогда не ходило. Было, было!

стр. 21

Джек Кейли

И когда уже в конце шестидесятых «Неделя», единственный тогда «желтый» еженедельник, опубликовал на полтора разворота (!) с фотографиями воспоминания о Хемингуэе Джека Кейли, американского журналиста и редактора, автора одной из многочисленных книг воспоминаний о «Хеме Великом», которые после нобелевки за «Старика и море» выходили в США в пятидесятые-шестидесятые пачками, – наш читатель прибалдел от непочтительных, на взгляд поклонников, пассажей. Простецкие были там такие высказывания раскованного американца с американским (а каким еще?) юмором. Но если кому охота побольше узнать о самом Кейли – лезьте, ребята, в интернет и ройте сами, потому что…

***

…потому что я чувствую необходимость в перерыве этого комментария – весьма неполного, далеко не исчерпывающего – всего к четырем страницам текста романа.

Понятно ли теперь, почему их было двести пятьдесят? А могло – две тысячи пятьсот. Или пять тысяч двести. Или сколько угодно – покуда помнишь и соображаешь. Ты берешь любое слово – и включаешь в себе механизм развертывания, увеличения, поступенчатого приближения и погружения вглубь: и оказываешься внутри мельчайшего знака Бытия, клетки, молекулы,

атома, электрона, кварка, волны – а волны складываются в струнную модель Вселенной, и хотя эта Вселенная замкнута сама на себя и тем самым конечна – но для нас она конца не имеет. Интравертная неисчерпаемость любого материала и любой темы.

Конечно, текст – это всегда код, но все-таки есть разные степени его свернутости и разные коэффициенты раскодирования. Есть дюдик и есть даосская притча. Есть многослойно структурированное сообщение.

Жанр «Ножика» в принципе можно назвать «точечной эпопеей».

Точечное сообщение изобрели давно. Морзянка записывается на пленку, а пленка – со скоростью в триста раз больше нормальной – на другую пленку. Краткий писк уходит в эфир. Кем надо он вылавливается, записывается и разматывается чувствительной аппаратурой с трехсоткратным замедлением: сообщение восстанавливается.

В этом романе-автокомментарии я слегка – всего-то в десять-пятнадцать раз – кое-где замедляю перемотку записи, чтобы некоторым малопосвященным читателям было внятно что-либо кроме услышанного ранее писка.

Мысли, которые успевают пронестись в голове на протяжении написания одной страницы, размазаны скоростью прохода сигнала по нейронам наподобие крохотных комет, и будучи все зафиксированы и оформлены в связные и законченные предложения, легко составят полноценный и полнообъемный роман. Записывать эти романы не позволяют сроки человеческой жизни. Обычно мы живем среди писка, не понимая его смысла.

Раскручивать все и до конца я, разумеется, не буду. Во-первых, до конца слишком далеко, и любая остановка на пути к совершенному исчерпанию предмета условна – а во-вторых читателю нужен люфт, чтобы он заполнял проемы смысла собственными представлениями о действительности.

***

стр. 21

…принесла мне тридцать рублей.

Прелесть и выгода собственных представлений о действительности в том, что любое реальное событие легко различается в двух аспектах: бытийном и символическом. Это как счастливый трамвайный билет: право на проезд и на счастье в одном флаконе, на одном клочке и за те же деньги. Я получил действительно и ровно тридцать рублей – за рецензирование десяти а. л.: на такую сумму мне рукописей и отмерили в отделе. И при этом, при этом, при этом – конечно здесь ясный отсыл к тридцати сребреникам Иуды.

Друзья мои! Не абсолютно счастливые, но все-таки вполне свободные граждане новой России и прочих сопредельных и несопредельных государств! Советские редакции были переполнены сотрудниками, ежемесячно зарабатывавшими деньги таким образом. И все они потом оказались страдающими жертвами режима. Работали, но страдали; страдали, но работали. И в пышно, или средне, или не очень озелененных городах обширной державы ни одна смоковница не засохла от того, что на ней кто-то повесился. Просто у некоторых отдельных хорошая память. Делай что хочешь – но помни, что ты делал.

стр. 21

Горышин Глеб Александрович (р. 1931)

А память нельзя разделить на «злопамятную» и «добропамятную»: она или есть – или нет.

Кто помнит – помнит все. Не помнить – грех: потеря способности различать добро и зло и ведать их. Забыть? «Забвенья не дал Бог». Так помянем Горышина: член КПСС, орденоносец, секретарь, главный редактор журнала «Аврора», составитель множества сборников и т. д. В

описываемое время имел к сорока годам дюжину изданий своих книг, что было тогда до черта. Никто никогда не мог запомнить, что же он написал и что осмысленного когда-либо произнес.

И поднимается вопрос, как нацеленный в грудь кол изгороди-ловушки: хорошо ли, хорошо так отзываться о человеке? Этот отточенный кол не подвергает сомнению правду высказывания, да не так она и важна: бестактность и грубость характеристики не подменяют ли собой прямоту? Уместна ли прямота, если может травмировать?

От травмированного слышите. Столько лет они травмировали меня своей ложью – ну так: ложь всегда в конце концов оборачивается правдой, которая травмирует лжеца. Умолчание правды есть травмирование истории. С чего бы мне дорога история? А это моя жизнь. Как и ваша? За вашу не отвечаю. Мне есть дело до правды, но нет дела до душевного комфорта сквернавцев.

Я еще не забыл Хемингуэя: «Задача писателя всегда остается неизменной. Сам он может меняться, но задача его всегда остается одна и та же. Она состоит в том, чтобы видеть правду, и увидев правду такой, какая она есть на самом деле, сказать ее так, чтобы она вошла собственным опытом в сознание читателя».

Что я имею против неагрессивного Горышина? Он и иже с ним украли воздух у моего поколения. Они расправили крылья и зобы на всем пространстве, отведенном литературе, и бдительно давили поползновения чужих: всех, кто жил, думал и писал не так, иначе, особенно – если непонятно, особенно – если лучше. Сколько непробившихся спилось? повесилось? эмигрировало? Не все ведь терпеливо-двужильны так, как ваш покорный слуга.

Они хотели, чтобы я спился, замолчал, повесился, эмигрировал. Я не спился, не замолчал, не повесился и не эмигрировал. У меня была хорошая гарнизонная школа. Литературные страдания – это постыдная ерунда по сравнению с тем, когда восемнадцатилетнему солдатику прыгающей противопехотной миной вырывает пах.

А также – к вопросу о проходимости. Литературная непроходимость была проблемой, решаемой потруднее, чем непроходимость кишечная. Проходимость же имела следующие характеристики:

Первая. Приличная анкета. Не диссидент, не уголовник, судимостей не имел, преследованиям не подвергался, политику партии понимает правильно. Короче, в порочащих связях не замечен. В тунеядстве не замечен. Лоялен. Ну – чтоб «наш, советский человек».

Вторая. Национальность. Этот пятый пункт анкет следует выделить особо. Ну не приветствовались еврейские фамилии, оно и естественно: не в Израиле живем. Еврейские фамилии в печати и так далеко вылезали за процентную норму евреев в общем населении СССР. Тяга евреев к печатному слову трудно истребима. Ну смотрите Чехова: «И если бы не барышни на выданье и не молодые евреи, библиотеку пришлось бы закрыть». Ну и вот. Ведь и Каверин был не Каверин, и Володин не Володин, и Багрицкий не Багрицкий. Поскольку сменить одну национальность на две судимости было выше сил простого человека, то мне неоднократно советовали хотя бы сменить фамилию. Хорошие люди, по дружбе советовали. Я был порочно глух к добрым советам всю жизнь.

Третья. Желательно быть знакомым, своим, примелькавшимся: как бы уже доказавшим, что ты свой, надежный и благонадежный, эстетически и политически проверенный теми, в чью среду хочешь войти своими публикациями.

Четвертое. Возраст и время втирания автора в среду публикующихся. Быстрота и молодость не только внушают опасения, но и обижают старших товарищей. Погоди, не торопись, это неприлично. Напечатайся в газетах, побудь год-другой в очереди на журнальную публикацию, поучаствуй в «Конференциях молодых дарований», получи рекомендации старших товарищей на маленькую книжечку, пусть она полежит пару лет в издательстве, потом ее вставят в план на выпуск через три года. После тридцати с тобой станут разговаривать, к тридцати пяти будут воспринимать за человека, достойного издаваться.

Пятое. Партийность – не обязательное условие, но весьма способствует. Партия отвечает за автора, уже издателю спокойнее. Обидевшись, партийный может и волну погнать по линии политической правильности себя и неправильности плохого отношения к себе. А кому охота связываться? И статистики-отчеты, опять же: столько-то процентов партийных авторов у нас, молодцы мы.

Шестое и главное: что ты пишешь, Аристотель? Надо – чтобы просто, ясно, оптимистично, реалистично, лояльно. Так мало, мало идеологической лояльности – требовалась, братцы, лояльность эстетическая. Мало того, что не стоит писать про зэков и лагеря, про трудную жизнь и низкие зарплаты, про что бы то ни было хорошее за границей и лучше вообще не упоминать заграницу, про убийства в коммуналках, скромно-паразитическую роскошь функционеров, бедность больниц и пьянство в армии и везде, и т. д. д. д. д. д. д. д. д. д. Надо – чтобы завязка, развитие, кульминация, развязка. Предложение начинается с большой буквы – кончается точкой. Вот тебе грамматика, вот тебе словарь: выверяй и соответствуй. Логично? Вот эпитет – вот метафора. Вот портрет – вот пейзаж. А что это у вас, молодой человек, как-то странно… а вот к чему это отсутствие абзацев? А этот разрыв предложения и абзац между половинами разорванной фразы? А вот эти короткие предложения лучше соединить в одно. А это – зачем так длинно? Давайте разделим на три, вот и нормально, видите? Категорически не поощрялись отклонения от некоей усредненной формы!

И положительной характеристикой первой авторской книги стало определение «незаметная»! А чтоб ничто не высовывалось, не привлекало внимания!

И планы были забиты на пять и семь лет вперед сугубо проходимыми книгами проходимых авторов. И ничто в них особого внимания не привлекало. Редко-редко укоренившийся крутой, как Быков или Трифонов, пробивали незаурядную книгу о том, о чем прочим писать не дозволялось. А вот эстетико-стилистическое «иное» не дозволялось вообще никому.

Планы были забиты горышинами.

Много лет спустя, в девяностые, один журналист за рюмкой после интервью рассказал мне, что в 83-м году, отдыхая в Нарве, купил мой первый сборник «Хочу быть дворником», изданный в Таллине минимальным при советской власти тиражом 16000. «Вот эта книга впервые внушила мне, десятикласснику, антисоветские взгляды». Я изумился: «Да что же там было антисоветского?! Ведь все рассказы вполне лояльны, некоторые даже патриотичны!» Он засмеялся: «Каждая запятая там была антисоветской. Вы не понимаете, дело не в теме».

Конечно, парень был прав. Можно не касаться ничего запретного, но в стиле твоя суть все равно вылезет. Можно соблюдать все приличия в лексике – но интонацию не подделаешь.

Горышины чуяли сомнительную интонацию и отсекали интонаторов напрочь. Я мог никак не трогать советскую власть, и даже любить многое в ней, и как бы не замечать ничего эдакого в ней – но я был чужой: вот не такой, как они, проходимые, вот слова не так составлял, запятые не так ставил, что-то за этой нетипичностью наблюдалось непонятное, неправильное.

Тяга к казарменности советского уклада сказывалась и в литературе, естественно: единообразие, подчиняемость, шаг в сторону означал если не попытку, так умысел к побегу. Правы были литературные старшины: всю жизнь я был котом, который гуляет сам по себе.

стр. 21

На Камчатку двумя годами ранее я на спор добрался за месяц без копейки денег…

Скажем, пили как-то на третьем курсе в общаге. Это обычно. Не хватило. Как водится. Не было денег добавить. Нормально, ранее я на спор добрался Разговор принял необязательно-пессимистический оборот о невозможности жить без денег. Из врожденного оптимизма, противоречия и наглости я противопоставил себя компании, утверждая, что без денег можно не только жить, но и жить неплохо, и даже передвигаться куда хочешь. Слово за слово – поспорил на ящик водки, что летом, выйдя из Ленинграда без копейки, за месяц доберусь

до… дальше всего Камчатка? пусть хоть до Камчатки. Бразилия была дальше, но нереальна в принципе: заграница, а Камчатка – теоретически возможна.

Настала весна, за ней июнь, стройотряды мне перестали быть интересны: я начал готовиться. Маленький солдатский вещмешок, куртка из кожзаменителя увязана в плотный рулончик проволокой – для компактности, и проволока в пути сгодится; кружка-котелок, ложка-нож, аспирин-анальгин-фталазол – «малый аптечный набор», свитер, плавки, берет, мыло-бритва-щетка-миниполотенце, ничего сменного – можно постирать в пути и высушить на себе. У меня было все, и весило это все килограмма три от силы. Старая походная мудрость, вычитанная в детстве из Бианки: «Никогда не бери с собой ничего необходимого. Бери только то, без чего никак не сможешь обойтись».

А вот трудность выяснилась: Камчатка была зоной. Не лагерной – пограничной. Для въезда требовался пропуск. Пропуск для въезда в зону выдавал Большой Дом. Основанием служил вызов от родственника, или приглашение на работу, или командировка. Какие у студента родственники?

По размышлении я пошел в отдел культуры газеты «Смена»: я студент филфака такой-то, чегой-нибудь вам напишу с Камчатки, а вы мне командировочку нарисовали бы: ведь не жалко, денег не прошу, все на свои. Меня выслушали непонимающе и отправили к ответсекру. Он также выслушал и характеризовал польстившим мне словом «авантюризм». Они не понимали, за каким хреном я туда хочу переться: а кому нужна ответственность за подпись на командировке?

Я последовательно обошел все ленинградские редакции, удивляясь опасливой недоверчивости журналистов.

В конце концов я сообразил пойти в деканат журфака собственного университета: хочу газетную практику, мечтаю о журналистике, филфак – ошибка юности. Милая девушка в приемной меня таки поняла и вникла: как-то ее идея с Камчаткой задела в положительном смысле. «Но вам надо зайти сначала к замдекана по практике, сама я вам не могу выдать, конечно. Объясните ему, он поймет». Он не понял и обозвал меня словами на грани того, что я сумел еще проглотить: на этот вариант я возлагал последнюю надежду, возбухнешь насчет достоинства – и кранты идее. Я пристроил на лице вдохновенную улыбку и вернулся в приемную. «Ну как, разрешил?» Я хмыкнул небрежно и благодарственно: «Естественно, как вы и сказали». Она достала из стола бланк командировочного предписания – уже подписанный и с печатью. «В какую вам газету?» Я внутренне напрягся и замельтешил: какие там газеты-то, черт возьми? «В „Камчатскую правду"», – сказал я легко: должна же там быть «Камчатская правда»? Так она и вправду оказалась! Девушка вписала заголовок, мою фамилию-имя, номер паспорта и студенческого билета – и я исчез быстрее призрака, успев услышать скрип замдеканской двери.

На Литейном мне сообщили, что выдачи пропуска положено ждать десять суток: читайте правило. Мое кряхтенье осталось безуспешным. Июнь кончался, сессия была сдана.

Я честно пропил стипендию с друзьями, купив себе только атлас железных дорог. Автомобильный я достал раньше. Карта Союза у меня была давно (и до сих пор, серо-желтая и истрепанная, висит на стенке в кабинете – сил нет выбросить, вся в пунктирах).

Утром 1 июля, демонстративно вывернув перед камрадами пустые карманы, я поехал (зайцем, естественно) на Московский вокзал и сел в плацкартный вагон поезда «Ленинград – Свердловск». Способ первый – выбираешь в толпе немолодую, но еще не старую, женщину с поклажей потяжелее, пристраиваешься идти вровень с ней, ловишь взгляд, заводишь разговор безобидной фразой насчет времени отправления или подобной, предлагаешь помочь нести чемодан – и, если внушаешь доверие и не похож на вокзального вора, тащишь, рассказывая, до какой станции едешь сам и по какому поводу. Главное – войти с ее чемоданом в вагон, сесть туда, где народу погуще, и дождаться отправления. Поехали!

Тридцать первого июля я послал друзьям открытки из Петропавловска-Камчатского. Я специально отправил их заказными – чтобы при мне разборчиво шлепнули штамп с числом отправки.

Я передвигался на всех видах транспорта, кроме разве что самоката: легковые, грузовые, мотоцикл с люлькой и без люльки, поезда пассажирские и товарные, пароход, вертолет и самолет. Времена были вольготные, паспорта нигде не требовали.

В принципе эта совершенно отдельная повесть в жанре «путешествий» гораздо интереснее и познавательнее литературных описаний и размышлений. Но как я вмещу здесь стостраничную камчатскую главу?

За месяц я навешал на уши гражданам лапши больше, чем за год могла произвести макаронная промышленность Италии. Необходимость жрать и ехать удивительно оттачивает психологическую наблюдательность и умение выбрать верную интонацию подаваемого текста.

И лишь раз меня выкинули из поезда – между Хабаровском и Владивостоком: поезд был почтово-багажный, короткий, вагоны почти пусты, два проводника – заматерелые мужики, злые оттого, что недавно их за зайцев же (правда, возимых «на свой карман») выкинули на два месяца понижения из скорого поезда. Они дождались самого глухого полустанка в тайге и выпнули меня, на ночь глядя. Спросив путь у шлагбаумщика в будке, два часа я продирался через тайгу до автомобильной дороги (до сих пор теряюсь в догадках, что там было в тайге спрятано – зачем бы шлагбаум на пустом месте?..) и шлепал комаров, и на попутной доехал до ближайшей станции: где подождал свой почтово-багажный и популярно поведал проводникам, что они были неправы – невинное удовольствие.

Пропуск, вопреки закону, получил в Хабаровском Краевом УВД за полдня: предъявил все документы с командировкой и спел о суровой необходимости начать практику на Камчатке с 1 августа, не то исключат бедного студента. Нормальный мужик вник и через два часа, после обеда, выдал мне бумажку: и то сказать, куда я с Камчатки сбегу? Самое обидное, что когда в Петропавловске я выходил из самолета, пропуск у меня не спросили: погранцы стояли между салонов у дверей, и когда выходил я – оба почему-то отвернулись, проверяя документы у выходивших из соседнего салона.

Потрясение воображения абитуриентов Камчатского пединститута, в общаге которого я решил пожить с комфортом, морской круиз в Жупаново и пеший поход в Долину Гейзеров, стрельба из винчестера (в то время-то!) в оленьем стойбище, выпивание диметилфтолата вместо спирта с последующим негарантированным выживанием и прочие мелкие радости – все это отдельные же, отдельные темы. Как напроситься на кормежку, как подкалымить мелочи, как выделить в кассе пассажира посостоятельней и сердобольней и уговорить спонсировать тебя на общий билет до ближайшей (определял по железнодорожному атласу) станции – а это ерунда, рубля полтора, – и потом сутки продержаться в поезде по разным вагонам, покуда не засекут, и тогда сойти раньше, чем выкинут – эта технология не может быть изложена в нескольких предложениях.

Я вернулся в сентябре, опоздав на занятия; мы выпили ящик водки и поставили общагу на рога. Время было безопасное и одновременно глухое, путешествия тогда приняты не были – максимум отпуск в Сочи или на Домбае, – я геройствовал в славе под факультетскими взглядами, получив от лета максимум удовольствия и не совершив на самом деле, разумеется, ничего трудного. Везде люди живут, везде нормальная жизнь, экзотика – это просто взгляд в перевернутый бинокль; пошлялся от души. Но писать по хитковско-чукотскому принципу «Где я был и что я видел» мне всегда представлялось смешным и мелким занятием для импотентов от литературы со столичной пропиской. Тоже мне, Марко Поло – в командировку он съездил и описал быт антиподов и селенитов.

стр. 21

…сподвижника Карабаса-Барабаса пьявколова Дуремара.

А себе нескромный автор подсознательно оставляет роль Буратино – с ним, впрочем, по закону психологии восприятия искусства, отождествляет себя любой нормальный читатель. Короче, вам фига, а золотой ключик мой. Но все-таки и тем самым Ленинградская писательская организация уподобляется театру марионеток, управляемому неумным и жадным злодеем, а зависимый и слабый, но упорный и нахальный главный герой в перспективе строит свой собственный театр, якобы счастливый. Таковы ходы подсознания…

стр. 22

Серега Саульский.

Ленинградское Суворовское училище, полтора курса медицинского института, французское отделение ленинградского филфака, шабашки, журналистика в многотираже, женитьба на стажерке из Сорбонны и отъезд в Париж. Помесь голливудского ковбоя с героем-гладиатором; человека с большим мужским обаянием и личным магнетизмом я в жизни не встречал; а встречал я до черта всяких. Любую компанию автоматически и сразу подчинял своему настроению и воле. Пытался писать киносценарии (что в советское время означало уличному сумасшедшему лезть в касту), и когда в кафетерии Ленфильма кинозвезда и всеобщий любимец Александр Демьяненко («Операция „Ы"», «Кавказская пленница») попытался вальяжно и естественно встать перед ним вне очереди – Саулу было достаточно объявить на весь зал насмешливо: «Ба! А вот и Шурик!» – чтобы публика начала ему подхихикивать, а покрасневший Шурик, не зная, как вести себя в такой ситуации, растерянно ретировался; при том, что Саул был никто со стороны, а Демьяненко – прима студии, но таков был магнетизм. Если б подобное попытался произнести я, меня бы просто спросили, кто я такой и что делаю здесь, где мне быть вообще не полагается, не то что кофе пить рядом со звездами. Однажды Саул выхватил из кассы Московского вокзала единственный билет под носом у стоявшего раньше, в нежных лучах всеобщего восхищения, рослого и шикарного красавца Янковского при роскошной телке; когда суперзвезда Янковский попытался важно и праведно возмутиться, Саул в лицо ему спел: «Служили два товарища… ага!» (фильм и Янковский в этой роли прогремели только что) и демонстративно спрятал билет в карман плаща…– у Янковского сделалось неловкое и сконфуженное лицо человека, которого неожиданно с изяществом обкакали, и он решительно не знает, как реагировать, чтоб перестать быть посмешищем. В числе последних его подвигов – перегон «мерседеса» из Парижа в Москву для бандитоватого нового русского: так в Солнцево (оцените бандитскую столицу) заказчик дружески поил его в ресторане – и выпивший Саул провозгласил на весь ресторан тост за родителей, требуя, чтобы зал встал. Это серьезный зал в ресторане в Солнцево! Саул таки заставил зал встать – причем, поскольку никакой силы за ним не стояло, никто его не знал, а поилец-заказчик всячески демонстрировал лицом и позой нейтралитет, пытаясь избежать разборки на месте, сделал он это на одном магнетизме; серьезные бандиты сами не могли объяснить, почему они встали, дело тут не в уважении к родителям, а в навязанной им наглости случайного лоха. Саулу дали догулять, при выходе впихнули в машину, отвезли подальше, изметелили до полусмерти и выкинули, но жить оставили. Вот вам случайный визит джентльмена в сердце бандитской России. Это не человек – это баллада о гвозде, который всю жизнь нарывался.

стр. 22

…то Богом уже работает капитан Сагнер.

Вот отсюда, похоже, начинается скрытое цитирование, принимающее дальше полную иногда скрытость и густоту паштета из соловьиных язычков. Вольное цитирование места из «Приключений бравого солдата Швейка», где незадачливый и больной дизентерией кадет Биглер возвращается в свой полк, он уже генерал-майор и его машина попадает под огонь, генерал Биглер возносится в рай и ждет подобающего его чину и достоинствам места – но Богом там, наверху, работает все равно оказавшийся выше и главнее его проклятый капитан Сагнер, издевавшийся над кадетом когда-то в полку на земле; на самом же деле кадету Биглеру все это

снится, а приказ бога-капитана швырнуть его в зловонную выгребную яму объясняется тем, что во сне реальный кадет Биглер обкакался: таково его пробуждение от триумфа.

стр. 23

…нажирались тогда в Париже.

В пять утра последние деньги мы потратили в ночной арабской лавочке на литр качественной водки «Абсолют» и семикилограммовый арбуз на закуску; а начали с утра большим разворотом за завтраком на траве в Булонском лесу; это был день рождения автора, 20 мая; «Майор Звягин» и «Легенды Невского проспекта» уже начали широко издаваться, было на что пить.

стр. 23

ЮНЕСКО.

Я до сих пор не знаю, как расшифровывается эта аббревиатура и вообще аббревиатура ли это; чем именно занимается эта почтенная и знаменитая международная организация со штаб-квартирой в Париже? – знаю, что всякими культурными мероприятиями, например, объявлением очередного года годом Достоевского или, наоборот, Савонаролы. Боже, сколько людей на свете хорошо устраиваются на деньги глупых и беспомощных налогоплательщиков. Я тоже охотно послужил бы в ЮНЕСКО при условии спокойного житья в Париже – но меня туда не приглашают, и я даже не знаю, как вообще туда попасть. А ведь готов спорить на последние штаны, что я не менее культурен, чем многие из сотрудников этой сладкой конторы.

стр. 23

Кортасар

Хулио Кортасар (1914-1984), знаменитый аргентинский писатель, один из столпов новой латиноамериканской (испаноязычной, естественно) литературы. В 1971 году в СССР был издан на русском сборник его рассказов «Другое небо», и Кортасар сразу стал знаменит среди советской читающей интеллигенции. Рассказы были хороши – с фэнтезийным элементом и сильными композиционными ходами; по «Слюням дьявола» Антониони (или Феллини? вечно путаю эту пару!) снял «Блоу ап». Кортасар всегда был мне симпатичен и по личным биографическим причинам: он до тридцати лет никому не показывал своих рассказов – а в тридцать, решив, что он уже пишет ого-го, разнес их по редакциям и сразу стал знаменит; в свое время я попытался сделать то же самое, но разница наших положений заключалась в том, что он давал свои рассказы в аргентинские редакции сороковых годов, а я свои – в советские семидесятых: полагаю, что на его месте я бы не пропал, он же на моем вероятнее всего спился бы или стал писать романы о передовых заводах.

стр. 23

…Солженицына всюду продавали на килограммы…

Вот это была слава! хрен ли там Кортасар. Как потрясающе выглядит этот человек для своих восьмидесяти лет сегодня!.. Нет, кто-то там наверху определенно неплохо к нему относится. Все было правильно в его жизни – кроме опереточного оливкового френча а'ля Керенский (понятно, что надо создавать себе имидж и одеянием тоже, тут без накладок не бывает; ему бы пригласить в имиджмейкеры того парня, который научил отставного генерала Лебедя носить цивильное платье – и петеушник-переросток в тесной нейлоновой курточке мигом превратился в мужественнейше-сдержанно-элегантнейшего политика российского экрана!) – и, кроме френча, помпезно-гадостного шоу с проездом при возвращении на родину всей страны с Востока на Запад – в спецвагоне на деньги Би-Би-Си и под телесъемку Би-Би-Си, обладательницу купленного на корню эксклюзивного права показа того, как российский мессия возвращается в рухнувший под тяжестью его таланта совок. Ну нельзя же торговать с иностранцами миссией, которую возложил на тебя Господь! Или как? То в начале века один мессия прет с Запада в немецком вагоне на немецкие деньги, то в конце века другой – на, наоборот, англий-

ские. Такая получилась как бы картина исторического реванша – англичане в конце концов отыграли у немцев и это очко. Молодцы англичане!

стр. 23

Лимонов

Эдуард. Он же Владимир Савенко. Год рождения точно не помню, вроде 46. Самое интересное – клянусь, в личном общении Лимонов – интеллигентнейший и хорошо воспитанный человек. Он хотел сделать себе славу (имеется в виду его первый и скандально знаменитый роман «Это я, Эдичка»), и он ее сделал. Прозу Лимонова я никогда прозой не считал, но сведущие люди утверждают, что он а) писал хорошие стихи; б) шил замечательные брюки. Чем дальше, тем больше мне симпатичен и уважаем этот небольшой худенький человек – своим расчетливым умом, жизненной решительностью и упорством. Когда псевдоумные и псевдообразованные литературные дамы на глубоком серьезе пишут о скрытых от непосвященных достоинствах прозы Лимонова, мысленно я ему аплодирую! Так и надо обращаться с публикой, этой претенциозной дурой, все равно ни хрена ни в чем не понимающей, но падкой до сенсаций и остро реагирующей на шокинг. Молодец Лимонов. Вот только в тюрьме подзастрял…

стр. 23

Бодлер, Шарль (1821-1867)

Великий французский поэт, если кто не знает. Был любовником Рембо. Ничего такого.

стр. 23

Рембо, Артюр (1854-1891)

Тоже великий французский поэт, если кто тоже не знает. Был любовником Бодлера, и еще неизвестно, при всей их разнице в возрасте, кто из них кого растлевал. Тоже ничего такого, в наши-то времена. Совсем не за это мы любим их (по крайней мере большинство из нас, которое покуда еще составлено из гетеросексуалов). Не путать с Рембо – суперменом-головорезом из кинобоевиков Сталлоне.

стр. 23

…минет…

Среди не раскрытых автором филологических загадок содержится и та, что в советские времена в перепечатанных самиздатских наставлениях по сексу «минет» писался с мягким знаком: «ми-ньет». Почему? Возможно, так было изящнее на высокоэстетичный и ханжеский советский вкус: ближе к «миньон» и «менуэт». Как-то более куртуазно и гривуазно, менее отдает вечным советским недостатком в гигиене и вразумительно-прямым «хуй в рот». О сладость запретного плода!.. Кошмар.

стр. 23

Урезать так урезать, как сказал японский генерал, делая себе харакири.

Цитата из знаменитых старинных эстрадных номеров Аркадия Райкина, короля юмористического жанра и кумира публики, особенно на советском бесптичье.

Шутка года так примерно пятьдесят восьмого. Одна из «крылатых фраз-цитат» нашей интеллигенции первой половины шестидесятых. Кто автор текста? – понятия не имею, Райкин был «истинно театральным человеком» (Булгаков устами Мольера о знаменитом театральном машинисте Вигарани) – он покупал текст «на корню», все права на все виды использования, и пред страной был как бы сам автором произносимого им текста, фамилия написавшего исчезала навсегда. Но Райкин у нас сам по себе не упоминается, так что распространяться о нем не будем. Так же как не будем здесь вдаваться в уточнения обряда харакири, что в русской традиции (слова, но не действия) подменяет собственно принятый японский термин «сеппуку».

стр. 23

Уж отменять цензуру…

(от лат. censura). Цензором был еще Марк Туллий Цицерон. Но не тем цензором, который профильтровывал поэзию, а тем цензором, который ведает цензом – оценкой имущества

граждан для контроля разделения их на податные сословия; но заодно, сука, следил и за благонадежностью и поведением граждан. Советская цензура называлась «главлит», что означало «Главное управление литературы», а ее подразделения – «горлит», т. е. «городское управление литературы». Гадство же заключалось не в том, что это было филиалом всемогущего и проклятого гражданами КГБ. А в том, что цензор («главлитчик») читал вещь на стадии гранок или даже макета книги (журнала, газеты). И если что слетало в процессе визирования им материала (штамп Главлита на страницу, дата и подпись) – у редактора начиналась головная боль: типография требует, сроки горят, начальство взгреет, премии не будет, и т. д. И редакторы сами выкидывали из рукописи все, что, по их мнению, могло задеть глаз цензуры. И уж здесь, конечно, лучше было перестраховаться – о бессильные судороги задроченных системой авторов! А в шестидесятые годы, вдобавок, власти сделали «улучшение». Поскольку цензура официально полностью именовалась «Главное управление по охране военной и государственной тайн в печати», так и разделили функции: пусть цензура охраняет только тайны, а уж сами редакции решают, потому как люди творческие там, что морально и идеологически можно допускать, а чего нельзя. Ну, а если они окажутся неправы – то потом, после выхода книги (журнала, газеты) их могут поправить товарищи из управлений культуры или отделов культуры горкомов (обкомов) КПСС.

Замечание им сделают. Несогласие выразят. В крайнем случае выебут и выкинут с работы. Или дело в суд передадут – чтоб не только автора, но и соучастника-редактора посадили за идеологическую диверсию, за антисоветскую акцию, за скрытые призывы к искажению политики партии. В результате этого акта высокого правительственного и партийного доверия советский редактор уподобился фокстерьеру, выгрызающего крысу из любой тени на стене – или просто грызущему стену по природной своей функции. Редактор категорически вырубал все, что хоть в малой степени пахло для него замечанием сверху. И, разумеется, часто вырубали даже то, что потом рекомендовали оставить сердобольные секретари обкомов. Чем ниже ступень – тем более рьян исполнитель, да и ответственность на себя не желает никакую брать. А добавочная прелесть положения заключалась в том, что у цензоров лежали в сейфах справочники: о чем нельзя писать. Номера военных частей, расположение предприятий среднего (т.е. военного) машиностроения и т.п. Но справочники были секретными, и редакторам их показывать было нельзя. Редакторы лишь знали о самом их существовании. Авторам же не полагалось даже знать о существовании этих секретных справочников! Авторам не полагалось даже знать о существовании главлита! Так что невидимки-цензоры, строго говоря, никакого особого вреда литературе не принесли, литература как таковая их мало касалась – хотя, конечно, за пропуск в печать идеологически ошибочных мест и они получали взгрев от своих руководящих органов – если «ошибка» попадалась на глаза кому в обкоме и т.п. Редакторы все делали сами. Цензура влияла на них лишь фактом своего наличия. Поэтому нельзя было, скажем, чтобы солдат пил водку или ходил с несвежим воротничком – а по уставу не положено, и все тут. А уж «формальные изыски», которые могли вызвать неудовольствие партийного босса, попадись ему на глаза, – целиком и полностью на совести редакторов, вырубавших все, что отличалось от «среднеположенной нормы». Идиотизмов тут было море безбрежное. Я лично однажды спорил с редактором, который вырубил у меня из рассказа номер полка на том основании, что номера частей указывать нельзя. То, что полк вымышленный, и стоит неизвестно где, и номера такого, вероятно, в природе не существует, и я предлагал редактору заменить его любым другим трехзначным номером – редактора не интересовало. О боже, лучше власть бандитов, только не обратно в совок – с бандитом можно договориться по уму, логике и понятиям, следуя его интересам, – с идиотизмом системы договориться невозможно никаким образом.

стр. 23

…из аксеновского «Острова Крыма»…

Действие романа, написанного в восьмидесятые годы уже в американской эмиграции, происходит, если кто не читал (а не-читателей Аксенова все больше…) в вымышленном СССР и вымышленном «русском Тайване» – Крыму, который не полуостров, а остров, и в гражданскую отмахался от большевиков; в конце Союз оккупирует глупый Крым, который восхотел воссоединиться с «большим братом»; еще одно подчеркивание «литературы вымышленного пространства», каковым является текст «Ножика…» при всей его фотографической, но избирательной документальности. Характерно: 1. Хотя это была первая публикация эмигрантского Аксенова в СССР, почти на год предварившая московские публикации, Аксенов нигде публично о ней не упомянул, благодаря московские журналы «за первую публикацию»; при том, что, разумеется, публикация была с ним по телефону согласована, благодарственные его слова выслушаны и журналы с кусками романа в Вашингтон отосланы. Он прав: хрен ли тратить время и капитал своего звучания на какой-то второразрядный журнальчик из провинции, большему кораблю – большое плавание по головам всякой мелочи. Но редакционные дамы были обижены. – 2. «Остров Крым» – яркий образец русской литературы, изготовленной «для использования только за пределами» России, как гласит торговая марка на американских сигаретах и кое-чем еще. Строго говоря, это даже не русская литература. Это американская беллетристика, написанная русским языком на российском материале – с расчетом прежде всего на то, что будет переведена на американский английский для прочтения американскими читателями, для получения гонораров от американских издателей и одобрения американскими критиками. И мат, и эротические сцены, и нерусские обороты типа «я продолжал любить свою девушку на мешке с углем» – все это калька с американского, жаргон эмигранта и «оживляж»; да и литагент нацеливает автора на книгу, которая принесет гонорары в США – много ли с Союза получишь, особенно когда в нем вообще не печатали. – 3. Вообще злые языки утверждали, что Аксенов покинул Союз не раньше, чем его новая жена, на много лет старше его, вдова знаменитого киношника Романа Кармена, получила свободный доступ ко всем деньгам Кармена, которых по советским временам имелось изрядно. Родина родиной, а бабки бабками. И всё равно я люблю Аксёнова, блестящего прозаика своей эпохи, писателя № 1 взлёта шестидесятых.

стр. 23

Главный скалил зубы…

Рейн Вейдеманн, доктор филологии, политический деятель, после 91 года – председатель парламентской комиссии по СМИ, помощник министра культуры и т.д. Лучший из всех начальников, кого я знал: не только не мешал сотрудникам работать и не сдерживал, но всячески поощрял инициативу и провоцировал на всякое интересное. Всегда утверждал материалы, в «проходимости» которых мы сомневались. «Рейн, – объясняли мы, – но после такой публикации тебя снимут, а нас посадят! – Давай-давай!» – отвечал Рейн. Он – классическая противоположность трафаретному образу эстонца: невысокий худощавый лысеющий брюнет, темноглазый, с черной бородкой, живыми чертами лица и быстрыми манерами, напорист и смешлив. Про себя любил говорить, скаля крупные белые зубы: «Я не эстонец, я эстонский еврей» (этнически – полная неправда). Редкий случай: интернациональный «творческий» коллектив обожал начальника.

стр. 24

«Четвертая проза»

Сочинение О. Мандельштама, непечатаемое в советское время и потому модное у интеллигенции. Честно говоря, весьма пустые прозаические стансы.

стр. 24

…знали нас, знали, в столицах выписывали.

Я пришел в «Радугу» через полгода после ее основания, в начале 87-го года. За полтора года мы вздули тираж с трех тысяч экземпляров до тридцати восьми. Отбирали для публика-

ции сливки, орешки и прочие перлы-жемчуга. И это при том, что журнал был на две трети переводным с эстонского «сис-тер-шипа» и одноредакционного аналога «Викеркаар» – (та же «радуга», но по-эстонски), и задуман и создан был как эстонский журнал на русском языке, для пропаганды среди русских эстонской литературы и культуры, – и только одну треть мы забивали самостоятельно тем, ради чего его в России и выписывали.

стр. 24

Кель ситуасьон!

Какова ситуация! (франц.)

Можно усмотреть намек на «Понедельник начинается в субботу» Стругацких, где профессор Выбегалло применяет и это выражение среди прочих французских «крылатых изречений». Если припомнить сермяжность Выбегалло и наивный шестидесятнический романтизм положительных героев повести, то яснее становится и отношение автора к отношению к мату русских «творческих интеллихентов». (В эпоху лавинного обвала в русские тексты американского написания – из принципа не желаю прибегать к оригинальной графике «крылатых фраз». Кому надо – переварит.)

стр. 24

Дэ профундис. Из глубины (взываю) (латин.).

Не только начальные слова широко известной молитвы, но и название посттюремной исповеди Оскара Уайльда – негромкий стон усталой души без всяких эстетических наворотов; а уж это был до посадки законодатель дендизма и для литературы тоже.

стр. 24

Когда же московская поэтесса…

Образ собирательный, клеветать только на одну было бы несправедливым. Падла, как я их всех не люблю!..

стр. 24

«Боцман задрал голову…»

Цитата из «Гиперболоида инженера Гарина». Опять же подсознательная аналогия: борьба одиночки с миром.

стр. 24

«Ме каго эн вейнте…» (исп.)

«Срал я на двадцать четыре яйца двенадцати апостолов и пизду святой девы бляди Марии!»

стр. 25

Я так думаю, сказал Винни-Пух.

Ну, книгу Р. Милна «Винни-Пух и все-все-все» знают в общем все-все-все, а кто нет – тот и этих слов наверняка не читает. Цитата к тому, что Винни-Пух добрый, простодушный и прямой, и все его честные и здравые мысли и предложения не вписываются в «нормальную», «взрослую» мораль и вечно вызывают разные казусы. Прав-то он прав, да «здравомыслящим особам» его правота совершенно ни к чему. Ну, а про мат – еще в отдельном эссе «Мат: сущность и место».

стр. 25

Лотман Юрий Михайлович (1922-1993)

Худо-бедно, русский филолог № 1 шестидесятых-восьмидесятых, столп структурализма, индекс цитирования вне конкуренции (по профессии), завкафедрой русской литературы филфака Тартуского университета, куда уехал работать после вскоре окончания Ленинградского университета, бо в России ему не светило, еврей и формалист. Лотмановские чтения и т.д.

стр. 25

Зара Григорьевна Минц (1927-1990)

Его жена, также доктор филологии, профессор той же кафедры, единомышленник, разумеется, и т.д.

стр. 25

Медведева, Наталья (родилась так году в сорок пятом, судя по виду)

Плохая певица, плохая манекенщица, бездарная письменница, вульгарна ужасно, и море амбиций, для реализации которых любит использовать эпатаж. Если бы не временный брак с Лимоновым, ее бы вовсе никто не знал. Раскручивала себя, как помесь швабры с самовзводной юлой.

стр. 25

Смотри порники…

Почти вся порнография удивительно примитивна и вульгарна.

Изготовители руководствуются девизом: максимум прибыли при минимуме затрат. Зритель хочет изображения половых актов как бы с новыми партнерами и как бы в новых интерьерах – получи, фашист, фанату. А актеры, в погоне за деньгами, естественно, работают близ предела своих возможностей. Судя по всему, если только актеров до съемок мариновать несколько недель в полном воздержании, да подобрать им партнерш, которые будут их сильно возбуждать, да весь процесс съемок лишить обыденной деловитости, а превратить в сплошной бордель, где снимаемые актеры – лишь одни из участников, т. е. сами съемки превратить из технологического процесса в сексуальный фестиваль – о, тогда можно делать настоящий порнофильм. Ну, это вроде как был Хичкок, который умел вызывать Ужас нехитрым зрелищем – и есть страшилки и боевики, где трупы летят вермишелью, а сопереживания нет. Но зритель смотрит! Делать сопереживание куда дороже обходится.

стр. 25

…с портфелем «Рымникского»…

Дешевое болгарское крепленое красное вино, разливалось в короткие поллитровые бутылки и стоило рубль сорок две. В среднестатистический студенческий портфель влезало шесть бутылок.

стр. 25

…к двум красивыми подругам…

Вот в таких местах читатель даже надеется на развертывание и детализацию события. Ну, может, и не очень красивым, но вполне ничего, на четыре с хорошим плюсом. Одна из них была нашей однокашницей и хорошей знакомой, а другая, постарше – ее подругой и, как оказалось, любовницей. Что касается имен и дат, то я не убежден в необходимости; перетопчетесь, может? Одну звали Марина М., и было ей в те поры двадцать один, а другой под тридцать, и как звать – забыл все равно. Кстати – строго говоря, они были бисексуалками; жизнь заставила – обе разведенные с маленькими детьми: что называется, обжегшись на молоке… Вообще лесбос процветает в девичьих комнатах общежитий больше, чем юноши полагают. Надо сказать, что мужчины-гетеросексуалы в общем лесбос приветствуют – в том плане, что это не снижает их влечения к лесбиянке, если оно было и без того знания, и более того – мужчине очень нравится лечь к ним третьим на правах равного. Но это уже уклонение от темы конкретного случая. Ночь была скверная: у них скрипела кровать, а я не мог уснуть на тюфячке.

стр. 26

И в Париже, в Венсеннском лесу, под луной, нет мне покоя!

Отсыл к булгаковскому из «Мастера и Маргариты»: «И ночью, под луной, нет мне покоя!» (Понтий Пилат). Достали, то-есть, по жизни и по литературе.

стр. 26

…шагов Командора за сценой.

Придет невинно убиенная статуя к дон-Жуану, пожмет руку дружески и утащит в геенну огненную. Приглашай их, сволочей, на ужин!.

стр. 26

…консилиум над телом Буратино.

С тех пор в печати и особенно по телевидению обожают по непрекращающимся кризисным вопросам повторять: «Пациент скорее мертв, чем жив. – Нет. Пациент скорее жив, чем мертв».

«Золотой ключик» стал одной из знаменитейших и цитируемых книг конца советской эпохи. «Поле чудес в стране дураков» вошло в устойчивую фразеологию языка. Мюзикл по Книге пользовался редкой любовью и цитировался насквозь. К. началу XXI века массы уже забыли, как они издевались над советской властью и ненавидели ее.

стр. 26

На чем настаивали все известные мне журналы и издательства.

С осени 75 по лето 79 тридцать семь моих рассказов были предложены 26-ти журналам и 17-ти издательствам. Я собирал редакционные отказы на подборки до ста, потом до двухсот, потом бросил. Сейчас даже странно, что нервы не сдали. Вот что значило пробиваться в те времена, господа нынешние литераторы.

стр. 26

Сделай или сдохни.

Широко известное в викторианскую эпоху английское присловье, долженствовавшее отражать незыблемость саксонского духа. Одновременно – самоцитирование (рассказ «Не в ту дверь»).

стр. 27

Эстония в Ленинграде славилась изобилием и либерализмом.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.